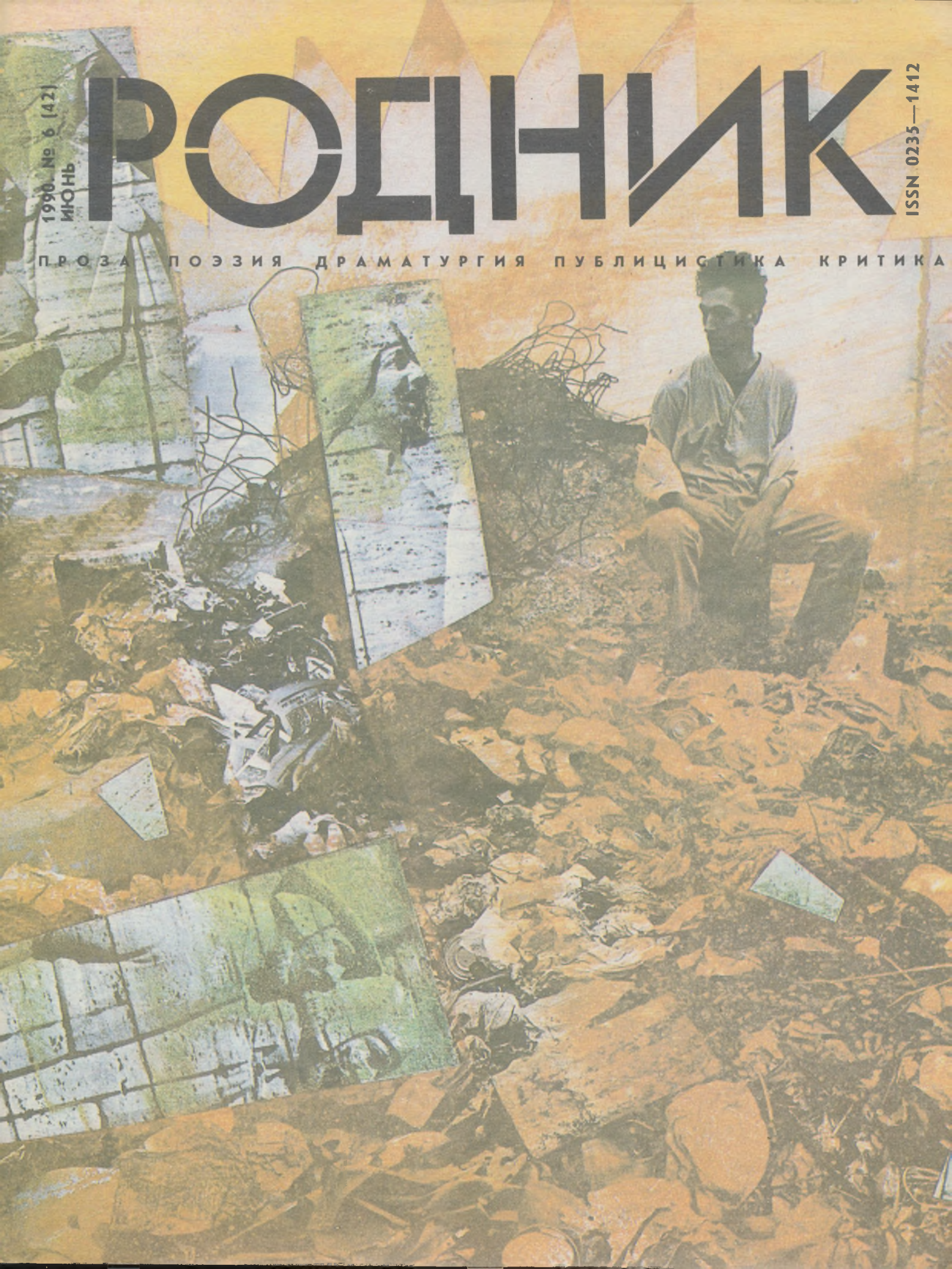


1990. № 6 (42)
ИЮНЬ

РОДІНЬК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЕЗІЯ ДРАМАТУРГІЯ ПУБЛІЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЫШ
ВИЛНИС БИРИНЫШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЫШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (1)
Улдис Лейнертс. Стихи (8)
V. R. Тексты (10)
Виктор Тихомиров. «Три кота»,
«Подросток» (15)
Юрис Куннос. Стихи (22)
Сергей Морейно. Стихи (24)
Григорий Капелян. «Ступ Льпусанский» (26)
Николай Кононов. Стихи (30)

КУЛЬТУРА

Кристине Сниеде. Интервью
с Паскалем Эммануелем Гале (32)
Улдис Тиронс. «Паскаль Эммануель Гале
между взглядом и горизонтом» (36)
Анна Леппик. «Разрушение подобий» (39)
Александр Горнон. Фоносемантические
стихи (45)
Михаил Эпштейн. «Блуд труда» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

Павел Новгородцев. «О путях и задачах
русской интеллигенции» (52)
Юрий Дружников.
«Вознесение Павлика Морозова» (59)
Эгилс Левитс. «Латвийская Республика или
Латвийская ССР?» (64)

ЛИТЕРАТУРА

Зиновий Зиник. «Русская служба» (72)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Сдано в набор 9.04.90. Подписано в печать 23.05.90. ЯТ 00928. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отг., 14,1 уч.-изд. л. Тираж 145 000 (на латышском языке 93 000, на русском языке 52 000). Номер заказа 582. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

Я ЗОВУ — ОТЗОВИТЕСЬ!

Подумал, что в общем-то она права. Мне проще. Все по крайней мере ясно. К тому же, думаю, девчонкам живется труднее, чем нам.

И потому сказал:

— Не фонтан.

— Вот именно, — ответила она, по-прежнему держа меня под руку.

Я чувствовал тепло ее тела, запах незнакомых духов.

— Поднимешься? — спросила она как бы между прочим, когда мы подошли к ее дому.

— Нет, — ответил я коротко.

— Не бойся! Родителей нет дома. Вряд ли папочка с мамочкой вернутся раньше десяти.

— При чем здесь твои родители? Не вижу причины их бояться.

— Так ты поднимешься? — Рудите решила пококетничать.

— Нет, — отказ мой прозвучал еще решительней.

Не понравилось мне, что она так откровенно себя предлагала. Может, я рассуждаю старомодно, но всегда, когда девчонки из кожи вон лезли, лишь бы завоевать парня, ничего, кроме чувства унижения, я не испытывал и, уж конечно, не чувствовал себя польщенным.

Представил, что произойдет, когда я поднимусь к ней в квартиру, и именно потому не хотел подниматься. Козе ясно, сидеть сложа ручки не станем.

Приоткрыв пухлые губы, Рудите с интересом смотрела на меня. Под яркой курткой в такт дыханию подымались и опускались округлые груди. Пальцы ее, словно ощупывающая мышца, пробежали по моей руке, и я еще раз твердо произнес:

— Нет!

— Я тебе не нравлюсь? Я плохо выгляжу и тебе не нравлюсь?

— Нет, ты выглядишь замечательно, но...

Я внезапно замолчал, так как не мог ничего объяснить. Как объяснить мое категорическое «нет»? Если честно, я, вполне вероятно, немного трусил, но не это было главное.

И хоть чувствовал я себя стопятидесятилетним стариком, и хоть в тот день Индра прямо на глазах превратилась в совершенно незнакомую девушку, став моим прошлым, я отчетливо видел ямочки на ее щеках. Она все еще была рядом. Во всяком случае, гораздо ближе, чем Рудите, которая держала меня под руку, а в общем-то оставалась чужой, хотя и симпатичной девушкой. Проще простого было дать увлечь себя и, притворившись полным профаном или, наоборот, выдавшим виды парнем, подняться вместе с нею наверх.

Но это был бы просто-напросто театр, а я вел бы себя как последний подлец. По отношению к себе, к Индре, к Рудите. И то, что об этой подлости никто никогда бы не узнал и вряд ли когда-нибудь кто-нибудь осудил бы меня за это, дела не меняло. Скорее усугубило бы чувство вины. От сознания, что я подлец, бесхарактерное существо, амеба. А я и так устал от последних событий. Запутался,

нашел и опять потерял. Так что еще этот груз мне не осилить. И без меня на свете полным-полно подлецов.

— Знаешь, давай договоримся — в гости к тебе я зайду в следующий раз, — примирительно сказал я.

— Почему в другой?

— Потому что в другой.

— Многие, стоило мне позвать их, бегом бы побежали.

— Значит, не на того напала. Очевидно, я не из этих многих.

— Ах так! Жаль. А я думала... Ну, не обижайся, что я заставила тебя тащиться в такую даль.

Вот тут я оторопел.

— Да чего обижаться! А в гости к тебе я зайду в другой раз. Это ты не обижайся.

— Да что там обижаться, — повторила она мои слова, в точности скопировав интонацию.

Похоже, она все-таки обиделась, хотя мы одновременно улыбнулись.

Через минуту мы расстались. Я не поцеловал ее, хотя ей явно этого хотелось.

На обратном пути я нарочно прошел мимо детской песочницы. Коричневой пластмассовой лопатки нигде не было. Значит, кто-то подобрал. Интересно, нужна она была тому, кто подобрал, или он взял ее просто так?

20

Суббота, вторая половина дня. В школьных коридорах царит непривычная тишина. На первом этаже двое мужчин, по всей видимости, чьи-то отцы, красят двери. Из спортивного зала доносятся ритмичные удары мяча, сопровождающиеся топотом ног.

— Я полагаю, этот вопрос вы должны утрясти сами, — сказала директор школы, обращаясь к Сунине, встала и направилась к двери.

Классная руководительница одиннадцатого в поисках поддержки взглянула на заведующую учебной частью.

— Почему я? Не могу же я разрешить Юркусу... — начала Суниня, но оборвала себя на полуслове.

Возвратившись, директор остановилась у стола.

— Ах, милая моя Рита Петровна! Вы ничего не должны ему разрешать. Вы же классная руководительница. Воспитатель!

Сквозь занавеси в помещение проникали последние неяркие лучи осеннего солнца, рисуя на полу светлые квадраты.

— Вы ничего не должны ему разрешать, — повторила директор. — Не вижу причины для ухода за десять месяцев до окончания школы. А вы видите?

И классная руководительница, и завуч попытались было возразить. Обе одновременно открыли рот, переглянулись, и обе промолчали.

Директор, не дождавшись ответа, продолжала:

— Вот и вы, коллеги, не видите достаточно веских причин. Где Арманд Юркус был раньше? Если человек в состоянии проучиться в школе целых десять лет, значит, ничего с ним не случится и за десять месяцев. Простите, но я не верю во внезапность сложившейся ситуации. Подумайте — еще вчера, еще месяц назад он мог учиться, а сегодня не может. Насколько мне известно, семейные

обстоятельства у него и раньше были не из благоприятных. Раньше это Юркусу не мешало. И вдруг... Что изменилось? Хотелось бы знать, что стряслось, по какой такой причине ему немедленно надо бросить школу?

— Ничего конкретного Юркус не сказал.

— Вот видите, ничего конкретного не сказал. Значит, и нет ничего конкретного. Фантазии подростка. Капризы. Так каждый может решить, что вправе бросить школу. Выдумать невесту что и потребовать, чтобы ему выдали документы. Фактически... фактически главной причиной является нежелание учиться.

— Именно так я ему и сказала, — торопливо подтвердила Сунья.

— Но ведь мы все знаем, что Арманд Юркуса нельзя упрекнуть в нежелании учиться, — вступила в разговор завуч. — Кого угодно, только не его.

— Ну не говорите, — иронически улынувшись, директор свысока посмотрела на свою заместительницу. — Буквально несколько дней назад вы собирались послать его на слет в Вильнюс. Могли ли вы себе представить, что не пройдет и недели, как молодой человек преподнесет нам такой приятный в кавычках сюрприз?

— Я знаю Арманд и уверена, что решение свое он обдумал, — твердо повторила завуч.

Директор передернула плечами. Ее покоробил тон, которым это было сказано.

А завуч продолжала:

— Мы обязаны выяснять, в чем дело. В противном случае мы окажемся в глупейшем положении. Кто знает, что еще может произойти.

— Да, надо бы выяснить. Поговорить, поинтересоваться, — несмело заметила Рита Петровна.

— Я не возражаю, коллеги, выясняйте. Пожалуйста, пожалуйста. Вы совершенно правы, коллега, — обратилась она к заведующей учебной частью. — Это надо сделать, и сделать немедленно, — продолжала она дипломатично, — но прежде всего мы должны выработать общую платформу. Чтобы не оказаться в роли лебеда, рака и щуки. Опыт и должность обязывают меня смотреть на происходящее без эмоций.

Произнеся эту фразу, она заняла свое место за полированным письменным столом.

— Если я не ошибаюсь, подобный случай произошел в прошлом году. Кажется, в декабре. С этой девочкой... Как ее звали? Если не ошибаюсь — Лиените.

Директор знала, что не ошибается.

Сунья утвердительно кивнула. Похожий случай действительно произошел в декабре прошлого года, об этом говорила вся школа, и девочку звали Лиените.

— Вы помните, Марта Яновна?

— Помню, — сказала завуч, внимательно наблюдая за солнечными квадратами на полу, которые едва заметно, но неотвратимо приближались к носкам ее туфель, и так же неотвратимо зрело в ней недовольство.

Ведь именно она должна была категорически возражать против ухода ученика из школы. Если бы речь шла не о Юркусе, она, безусловно, так бы и поступила.

Безоговорочно поддержала бы точку зрения директора, привела бы аргументы, нашла способ избежать неприятностей, ну, если не неприятностей, то осложнений уж точно, которые возникают, когда весной выпускной класс заканчивает меньше учеников, чем планировалось осенью. Ах, эти планы, планы, планчики, которые вначале с такой легкостью копировались с жизни, а потом забывались! Однако планы-планчики продолжали жить самостоятельной жизнью. Поднимаясь по служебной лестнице, они с каждой ступенькой обретали все больший вес, становились все значительнее, пока в конечном счете не превращались в эталон, с которым сравнивали конечный результат, хотя зачастую придуманное не совпадало с действительностью. И тогда бросались искать виноватых, и находили, журили, наказывали тех, которые чаще всего виноватыми не были.

На сей раз всю вину свалили бы на нее.

Заведующая учебной частью неотрывно смотрела на

солнечные квадраты на полу. Тишина грозила затянуться. Она попыталась сформулировать для себя, почему категорически возражала бы против ухода любого другого ученика из школы, но не возражает против ухода Юркуса. Может быть, потому, что среди выпускников он как-то выделяется? Его присутствие постоянно напоминает о том, что такие семьи, как его, существуют, в то же время убедительно доказывая, что наперекор всем обстоятельствам вырастают и такие дети. Дети, ради которых стоит работать. Арманд Юркус в течение десяти лет служил тому блестящим подтверждением. Своим присутствием он придавал работе глубокий смысл, благородство. То, чего так недостает в каждодневной суете. Он рос на глазах. Рос, рос и вот вырос.

«Возможно, директор права. Не надо поддаваться эмоциям», — думала Марта Яновна. Но по отношению к Юркусу она не способна была быть объективной.

Затянувшееся молчание прервала директор.

— С девушкой была совсем другая история.

— Да, с девушкой была совсем другая история, — эхом откликнулась Рита Петровна.

— Почти совершеннолетняя, — продолжала директор. — Физически и духовно зрелая. Эмоциональная, как всякая девушка. Да какая там девушка — молодая женщина. Влюбилась. Появился ребенок. Безусловно, сама виновата. Но чего в жизни не случается. Судьба женщины не из легких. Раньше или позже девушка становится матерью. И кто знает, может быть, даже лучше раньше, чем позже. Ясно, что продолжать учебу в общеобразовательной школе она не могла. Это мы должны были учесть. Тут все понятно. В отношении же Юркуса... Он, надо думать, не ждет ребенка?

Рита Петровна хихикнула.

Заведующая учебной частью хотела возразить, сказать, что она не согласна, что руководствуясь таким, заранее сконструированным предвзятым отношением, ничего серьезного добиться не удастся, что, очевидно, в этом и заключается цель директора — ничего не добиться. Хотелось резко и категорично возразить, но не хватило смелости. Внезапно она поняла, что значит не хватает смелости. В течение всех восьми лет, что они работали вместе с директором, она только и знала, что соглашалась и соглашалась. Выслушивала распоряжения и выполняла их, выполняла, выполняла. И сегодняшний случай мог бы стать первым, нарушившим единодушие, когда она открыто могла бы выразить свое несогласие. Интересно, что было бы, если бы она все же осмелилась...

Светлые квадраты подобрались к самым носкам туфель. Не отрывая от них глаз, Марта Яновна произнесла:

— С Юркусом сложнее. Хотя бы потому, что мальчик не виноват в несчастях, с которыми ему изо дня в день приходится сталкиваться.

— Не чересчур ли вы драматизируете? Несчастья... Преодолевать...

— Что значит драматизирую? Я не драматизирую. Я просто констатирую факт.

— Насколько мне известно, — вмешалась в разговор Рита Петровна, — и на сей раз не обошлось без... как говорится... без интимных...

— Что? — директор приподнялась в своем кресле.

— Я хотела... — замаялась Сунья. — Я хотела сказать — не обошлось без дружбы.

— Возможно, ваша версия о ребенке соответствует действительности, — ядовито заметила завуч, испытывая злорадство.

Она преодолела свой страх. А теперь будь что будет.

— Арманд лет пять дружил с Индрой, — пояснила классная руководительница. — Об этом знали все. Это не тайна. А недавно они поссорились. Дружба распалась. Ничего более конкретного выяснить не удалось.

— Господи! — воскликнула директор. — Что значит дружили? Теперь все дружат. В детском саду дружат, в школе дружат. Спят в одной постели и говорят — мы дружим. Дружат до свадьбы и после свадьбы все еще только дружат. Не любят, не живут вместе, а дружат.

— Арманд и Индра действительно дружили.
— Дружат, дружат, а потом дети рождаются. Слишком растяжимое понятие. Трудно сказать, что, говоря о дружбе, имеют в виду в каждом конкретном случае.

— Индра примерная девочка.

— Да, Индра, безусловно, примерная девочка, — тут же согласилась директор. — Так вы говорите, они поссорились?

— Не знаю, поссорились или нет, но что-то случилось. Директор заулыбалась.

— Поверьте мне, коллеги, вот она, та причина, которая вынуждает Юркуса уйти из школы. Видите, когда хотя бы истину отыскать не трудно. Жизнь зачастую намного проще, чем мы думаем.

И она с чувством превосходства посмотрела на заведующую учебной частью, которая тут же возразила:

— Я не исключаю такую возможность, но не верю, что это главная причина.

— Придется поверить, коллега. Я убеждена — нет другой причины. Единственное объяснение — распалась дружба, как теперь говорят. И из-за этого надо сразу же бросать школу? Просто диву даешься, какими нерешительными, неуравновешенными, легкоранимыми, словно барышни, стали современные юноши. Вам не кажется?

— С другой стороны, условия, в которых живет Юркус...

Директор не дала Рите Петровне закончить.

— Об этом мы уже говорили, — холодно заметила она.

— Об этом мы не говорили, об этом было сказано между прочим, вскользь, — возразила завуч и, глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, продолжала: — Считаю, что мы обязаны изучить условия жизни Юркуса, как говорится, со всех сторон. Пока мы пришли к выводу, что у него возник конфликт с одноклассницей. Но из-за этого школу не бросают.

— А некоторые, оказывается, собираются.

Директор помрачнела. Сунья вертела головой, стараясь ничего не упустить.

— Это при поверхностном взгляде, — сказала Марта Яновна. — Мы обязаны серьезно в этом разобраться. Обязаны... И по-другому не имеем права... Так же, как не имеем права помешать Арманду уйти из школы, если причины, которые его на это толкают, окажутся достаточно серьезными.

— У меня на этот вопрос своя точка зрения. По поводу права, как вы, уважаемая коллега, изволили выразиться... Наши права определяют наши обязанности, — отчеканила директор, — а наша обязанность — позаботиться о том, чтобы каждый, кто перешел в одиннадцатый класс, школу закончил. Если хотите, это точка зрения и районо, и даже министерства. Значит, официальная, общепринятая. Надо приложить все силы и добиться, чтобы каждый, кто перешел в одиннадцатый класс, школу закончил. В противном случае — для чего мы работаем? За что получаем зарплату? Лентяев, бездельников и прогульщиков и без того хватает. Дайте только им волю! Дайте! Посмотрите, что получится!

— Вы сами заметили, что существуют исключения.

— Юркус — это не Лиените, которая ждет ребенка.

— Это не исключает варианта, что Юркус не имеет возможности продолжать занятия в дневной школе. Не исключено, что придется все же его отпустить.

— Отпустить мы можем. Сколько угодно — а что скажут в районо? Надо смотреть правде в глаза. Наши эмоции ничего не значат. С ними никто не считается. И правильно делают. Есть соответствующие инструкции, предписания, рекомендации. Приказы, наконец. И вы это знаете не хуже меня. От нас требуют их выполнения. Требуют только одного — чтобы мы выполняли свои обязанности. Понимаете ли вы, что это затронет именно вас... вас лично? — Директор устало откинулась на спинку кресла.

— Понимаю, — ответила завуч.

Наконец светлый квадрат коснулся ее тупель. Марта Яновна оторвала взгляд от свежевыкрашенного пола и подняла голову.

— В конце концов и в районо работают люди. Планы, инструкции, предписания — все это ради людей, а не наоборот. Если необходимо, если требуется, Юркуса я готова идти отстаивать в каком угодно отделе, вплоть до министерства.

— Не превращайтесь в посмешище! Обдумайте все как следует, прежде чем что-нибудь предпринимать, — в голосе директора зазвучали угрожающие нотки.

— Я обдумала. Может быть, вам покажется это наивным, но я не теряю надежды.

— Не торопитесь!

Завуч ничего не ответила.

— Так что же мне сказать Юркусу? — растерянно спросила Рита Петровна.

— Чтобы выбросил эти мысли из головы. Больше ничего. Если не поможет, я сама буду с ним разговаривать.

— Но все, что вы ему скажете, останется на вашей совести. На вашей, Рита Петровна!

С этими словами заведующая учебной частью поднялась и, пересекая нарисованные солнцем квадраты, вышла из кабинета.

«Да это бунт, — подумала директор школы. — Это же явный бунт».

О заместительнице она была не очень высокого мнения. Прекрасно знала грань, которую та не преступала, ибо не способна была даже увидеть то, что лежало за ее пределами. Знала, что способности эти ограничены. Случалось даже, когда завуч прибегала согласовывать чуть не каждый вопрос, директор пеняла ей за отсутствие инициативы, хотя в глубине души была довольна, ибо считала главными качествами идеального работника четкость, исполнительность, старательность. Именно поэтому долгие годы они работали вместе. Впервые в разговоре с нею, с директором школы, завуч проявила упрямство и настойчивость. Это ее неприятно поразило.

«Нет ничего опаснее упрямого и в то же время ограниченного человека. Придется начать воспитывать воспитательницу», — подумала она.

— Я могу идти, Ингрида Карловна? — спросила Сунья.

— Идите, идите, — ответила директор, подумав при этом: «Хорошо, по крайней мере, что есть такие, как Сунья. Делает что велят и много не рассуждает».

21

— Юркус, вы недисциплинированный ученик и плохой человек, — сказал физик. — Не умеете себя вести как положено.

— Но, Альгирт Фрицевич... — пытаюсь возразить.

— Что надо сказать, уходя?

— До сви-да-ни-я! — отвечает класс хором.

— Но, Альгирт Фрицевич...

— Правильно. Надо сказать — до свидания. А вы этого не делаете.

— Но, Альгирт Фрицевич... — делаю я очередную попытку.

— Не перебивайте, когда говорит человек старше вас, тем более педагог. Совсем вы распустились, Юркус. Объясните, пожалуйста, откуда вы такой взялись.

— Не знаю.

— Вот видите, даже такого пустяка не знаете. А кто должен знать? Может быть, я?

— Не знаю.

— И этого вы не знаете. А вот перебивать, когда говорят взрослые, это вы умеете.

— Но, Альгирт Фрицевич, я хотел сказать, что ухожу из школы.

Его смех прозвучал для меня раскатом грома.

— Я искал человека, которому можно было бы довериться, я хотел рассказать вам — первому и единственному, — говорю, а у самого слезы на глазах.

— Это меня не интересует. Понимаете, не интересует! Мне все равно, что вы собираетесь делать. Я хотел бы знать, почему вы пропускаете уроки, а остальные, как дураки, сидят здесь с утра до вечера?

В классе поднялся невообразимый шум.

— Верно! Правильно! Альгирт Фрицевич прав. Почему тебе можно, а нам нельзя? Мы что же, хуже тебя? Нет! — кричали ребята наперебой. — Нет! Мы не хуже!

Громче всех орал Мартыныш.

Орал прямо мне в лицо:

— Тоже мне, ангел нашелся! И чего ты все выпендриваешься? Хочешь быть лучше всех? Почему ты всегда хочешь быть лучше всех? Что ты за исключение, что тебе полагаются выходные?

— Я не исключение. Я не хочу быть исключением, — беззвучно произнес я.

Физик поднял руку, как древнеримский император. В классе стало тихо.

— Значит, я не лгу? Значит, я прав? Скажите — да!

— Да-а-а, — подтвердил хор. — Да-а!

Крик перешел в затухающие раскаты грома, и я втянул голову в плечи, ожидая, когда он окончательно замрет вдали.

— Представляете, Юркус, что произойдет, если каждый поступит так же, как вы? Что произойдет, если и другие вздумают бросить нашу дорогую школу? — спросил физик и сам себе ответил: — В нашей дорогой школе не останется ни одного ученика. Кто же в таком случае будет изучать закон Бойля — Мариотта, хотел бы я знать? И какой смысл в этом законе, если его некому будет изучать? Мне не останется ничего другого, как засолить свой реостат.

Встав на стул, он принялся сыпать на реостат соль.

Альгирт Фрицевич сыпал на реостат соль и при этом напевал:

Спи, усни, наш милый друг,
Сладко спи, сладко спи...

Закончив петь, он вытащил из кармана носовой платок и вытер потное лицо.

— Во всем виноваты вы, Арманд Юркус!

— Нет, я не виноват, — пытался я спорить с ним.

— Не спорьте с учителем! Я лучше знаю. У меня диплом о высшем образовании.

Вдруг я заметил, что мы остались одни. Остальные куда-то исчезли.

Физик подошел к шкафу и, вытащив длинный коричневый предмет, сказал:

— Вы никому не нужны, Юркус, ибо не подчиняетесь и создаете проблемы. Проблемы, от которых вы не можете избавиться и которые следуют за вами, как тень. А я решить их не могу. Поэтому жизнь стала такой сложной. Без таких, как вы, жить было бы гораздо проще и спокойнее. Лучше и веселее. Без забот и без хлопот.

Наконец я рассмотрел предмет, который он держал в руке, — это была двустволка. Примитивная старинная двустволка.

— К сожалению, вы существуете, а вместе с вами существуют и ваши проблемы. Проблемы, которые колют глаза, не позволяя другим сохранять душевное равновесие. А я хочу жить спокойно, поэтому меня, черт возьми, не интересует, что с вами происходит! — продолжал физик сердито. — Вы приносите обществу вред. Гораздо лучше, если бы таких, как вы, вовсе не было. Наконец вы поняли, что не нужны никому? Никому, Юркус! Мне вас не жалко. Ничуть! И никому вас не жалко. А те, кто говорит иначе, — лгут. Хао! Я все сказал.

— Не надо, не надо, Альгирт Фрицевич!

Он тщательно прицелился в меня и выстрелил. Один раз, второй, третий.

Я понял, что вот-вот почувствую боль и поэтому должен спрятаться под стол, за которым сижу. Но что самое странное, я ничего не почувствовал. Лицо физика исказилось от злобы, и он выстрелил еще раз. Двустволка прямо на глазах превратилась в пулемет. Физик, прижав его к животу, стал стрелять длинными очередями, хватая ртом воздух, словно задышался. Пули рассекали воздух, оставляя за собой сине-красные следы.

«Пожалуй, этот придурок меня и в самом деле убьет», — подумал я и открыл глаза.

По потолку временами пробегали яркие отблески. Над городом бушевала гроза. Это была всего-навсего гроза, глухо рокотавшая в шахте за окном.

В воскресенье у нас в квартире дым стоял коромыслом. С раннего утра ее захватили синюхи. Оккупировали не только комнату матери, но и коридор и кухню.

Я уже успел заметить, что эти несчастные с особенным почтением относились к воскресенью, словно день этот был невестой каким божественным подарком. А бородастый старичок наверху, на сто пятом этаже, шесть дней старательно трудился, пока не сконструировал землю, деревья, горы, бедного Адама и все такое. Могу представить — адская досталась ему работенка, пришлось попотеть, пока не переделал все. Вот поэтому седьмой день, и это вполне логично, он отдыхал. Под влиянием антирелигиозной пропаганды и научно-технического прогресса мамашины приятели пошли гораздо дальше. Шесть дней отдыхали. Седьмой праздновали. Как и большинство людей, к воскресным дням они относились, как говорится, благоговейно, словно бы отдых свой честно заработали. Но в отличие от остальных у них и все прочие дни недели не были рабочими днями, и тем не менее воскресенье... О-о-о! Отметить воскресенье они считали святым делом. Они ведь тоже люди, и у них есть право на отдых, а каждый отдыхает как умеет, так что раз в неделю культурно посидеть никто запретить им не может.

«Не может! Вот так! Понял? Нет такого закона», — завершали обычно они тираду, отвергая всяческие посягательства на свои привилегии.

Но зачем я все это рассказываю? Ах да, чтобы хоть приблизительно было понятно все, что произошло в нашей квартире в то воскресное утро.

Около трех явилась Гунита со своим Янкой и Женей.

«Значит, Янку уже выпустили», — отметил я.

(Женику вообще-то звали Эйженей. Красивое имя. Женя — знакомая Гуниты, она была немного старше и одевалась не так вызывающе, как сестра. Больше ничего о ней я не знал. Похоже, что и Гунита не смогла бы к этому ничего добавить.)

Явились они в сопровождении двух прилично одетых мужчин. Пьяных. В темных костюмах, при галстуках и при дипломатах. Насколько я понял — приезжие.

— Здесь я живу. Это моя квартира. А это мои друзья, — по-русски тархтела Гунита.

Как назло, я в это время оказался в коридоре.

— А вот и мой милый братик, — сказала Гунита, указывая на меня, как на музейный экспонат.

И эти болваны на полном серьезе поздоровались со мной за руку и, доверчиво глядя в глаза, хором произнесли:

— Рады познакомиться.

«Ишаки. Вас же сюда привели, чтобы обчистить», — мысленно сказал я им, так как знал, что ближе к вечеру, тепленьких, их выставят из дома — без денег, без часов, дипломатов, пиджаков и, возможно, даже без галстуков.

Почтенные граждане чему-то криво улыбались.

«Болваны все-таки люди. Особенно когда выпьют. Идут, куда ведут», — подумал я, глядя им вслед — они как раз зашли в комнату матери.

Мне оставалось лишь пассивно наблюдать за происходящим. Не станешь же вызывать милицию или что-нибудь в этом роде. Бесполезно. Все это детские игрушки, больше ничего. Милиция в нашем доме не такой уж редкий гость. Если она и явится, пьянчуги примутся воинственно доказывать, что ничего плохого не делают и делать не собираются. Соседям не мешают и собрались просто так — посидеть, отдохнуть, воскресенье все-таки. Нельзя разве? Можно!

Да еще кто знает, придет ли милиция, отзовется ли, если я позову. Ведь обществу не угрожает реальная опасность. Прежнего участкового мать по крайней мере назы-

вала по имени-отчеству: «Аугуст Алфредович!» А нового зовет Юрочкой. Ничего себе Юрочка весом в полтора центнера.

В половине четвертого я благополучно выбрался из дома. Договорились встретиться с Рудите.

Вернулся поздно. Около одиннадцати. Прогноз мой не оправдался: когда открыл дверь, меня встретила гробовая тишина. Это показалось мне странным.

«Что это с ними стряслось?» — подумал я, но когда, миновав кухню, подошел к своей комнате, все стало ясно.

Увидев двери, я окаменел. Дверь была взломана! Взломана самым примитивным способом. Кто-то поработал то ли топором, то ли ломом.

«Кретины, — только и сумел выдохнуть я. — Кретины!»

Видно, не совсем я окаменел, так как поднял руку и ошупал косяк в том месте, где рядом с замком болтался отломанный кусок дерева. Увиденное мною скорее напоминало сон или мираж — настолько все было нереально.

С полок все было сброшено на пол, дверцы шкафчика нараспашку, ящички трюмо выдвинуты и брошены на диван. Все вверх тормашками. Одежда, бумага, полиэтиленовые мешки, раздавленное чужими ногами печенье, вываленный в пыли кусок сыра и книги . . . книги, на которых лежал раскрытый толстенный латышско-английский словарь.

Я его схватил и стал судорожно листать. Денег и след простыл. Исчезли, словно их и не было. Я стал хватать все книги подряд. Перелистывал и швырял на диван. Хватал следующую, надеясь бог знает на какое чудо, пока наконец не понял, что стараюсь зря. Честно заработанные нынешним летом денежки тью-тью. А я, наивный, надеялся . . .

— Кретины, кретины, кретины! — я уже не шептал, я орал, рычал, я впал в бешеную ярость. Еще чуть-чуть — и я бы стал ругаться.

Не помня себя от злости, я влетел в комнату матери. Вначале мне показалось, что в комнате никого нет. И только потом я заметил скрючившуюся в углу дивана мать. Голова ее была прикрыта какими-то тряпками.

— Кто взломал дверь? — орал я, тряся ее за плечи. — Говори, вонючая старуха, говори — кто взломал дверь? — Голос пресекся, и я стал задыхаться. — Скажи, кто . . . кто . . .

Мать молчала. Разбудить ее пьяную было делом безнадежным. Только холодный липкий пот был единственным признаком того, что она жива.

— Кто взял деньги? Я спрашиваю — кто взял деньги?! — силой усадив ее, орал я ей в самое ухо.

Наконец, разлепив оплывшие веки, она проплямкала:

— Обчистили ты, а?

— Скажи — кто?

— Не скажу. Так те и надо!

— Скажешь!

— Не скажу. В следующий раз будешь умнее. Мать просит, мать помирает . . . А этот, подумать надо . . .

— Кончай мямлить! Говори — кто?

— И не подумаю! Проучили тебя. Давно пора.

— Кто сломал дверь?

— В следующий раз не пожалеешь для родной матери трюяка.

— Знаешь, кто ты? Ты . . . ты . . .

— Заткнись, обезьяна!

— Свинья ты, а не мать. Вот ты кто!

Сидя на кровати, она ударила, метя в одно место. (Сами знаете, куда.)

— Ах, ты так!

Не задумываясь, я размахнулся и опустил кулак. Но в последнюю секунду опомнился. И потому, что она сидела как-то странно — вытянул голову на тонкой шее, и потому, что была она все-таки моя мать, и потому еще, что ни разу в жизни не ударил женщину. Мерзкое занятие. Я отдернул кулак, потерял равновесие, упал на кровать и в кровь разбил о стену пальцы.

Мать злорадно засмеялась. Я выбежал из комнаты. И правда, какой смысл в том, что я узнаю, кто взломал дверь, кто взял деньги. Обратное их все равно не получишь. Наверняка пропили. А чужого мне не надо. Ведь предположив, что мне вернут украденное, надо допустить возможность, что эти деньги будут в свою очередь украдены у другого. Ведь обчистили меня самые что ни на есть нищие. Ничего у них не было, никогда и ничто им не принадлежало.

В тот вечер, вернее, в ту ночь заснул я очень поздно.

Когда я убирал комнату, во мне, как в миксере, перемешивались злость с обидой, взбивая кроваво-красную пену мести. Я не мог бы сказать, чего во мне было больше — злости или обиды, но что я отомщу, было яснее ясного. Не знал только еще, каким образом. Зато знал, что отомщу и месть моя будет страшной.

Я уничтожу их, сотру в порошок и развею по ветру. Хватит!

«Так вот как вы отыгрались на мне за то, что, повзрослев, я не позволил сесть себе на шею? Так вот чем вы отплатили за то, что год за годом я мирился, терпел вашу компанию? Хватит! — шептал я, прибирая комнату. — Хватит! Кончилось мирное сосуществование. Война объявлена. Война не на живот, а на смерть. Арманд Юркус против компании».

Был второй час ночи, когда я наконец улегся. Но сон не шел. Я крутился под одеялом, разрабатывая планы изощреннейшей мести. Но ничего путного придумать не сумел. Пока наконец . . . пока наконец незаметно не уснул.

23

В понедельник утром мне сообщили новость. Рита Петровна заявила, чтобы я и думать не смел об уходе из школы. Директор категорически против. Завуч пыталась меня отстоять, но все напрасно. Ничего сделать нельзя. Судя по всему, придется примириться и среднюю школу закончить. Вот так, Арманд!

Мне стало жарко.

Классная, как водится, куда-то торопилась. А может, делала вид, что торопится. Говорила со мной, а сама все время озиралась, словно ждала кого-то или высматривала в конце коридора. Раздражало это жутко и выбивало из колеи. Ты школу бросать собираешься, а ни у кого не находишь времени, чтобы с тобой поговорить.

Волна жара пробежала по телу, в висках застучало. Лихорадочно принялся я расстегивать воротничок рубашки. Ноги по колена увязли в раскаленном песке, и я медленно заскользил по крутому обрыву. С вами такое случилось? Ноги делаются чугуныными, вязнут, и вы не можете ни вытащить их, ни упасть, а вокруг ни одной веточки, ни одного кустика, за что можно было бы зацепиться.

Обычно, если вы оказываетесь в такой ситуации, внизу плещется река, озеро или море, словом, синее спокойное зеркало воды. Вы беспомощно отдаетесь текущему песчаному потоку, отчетливо понимая, что в конце концов, увлекаемый инерцией, так или иначе окажетесь в горизонтальном положении, забив при этом нос мокрым песком или пенистой грязью.

— Рита Петровна, меня вчера еще и обокрали, — говорю я.

— Обокрали? Не фантазируй, Юркус! Интересно, почему меня никто не обкрадывает? — недовольно произнесла классная.

— Честное слово, обокрали.

— Я сказала — не фантазируй!

И вот тут во мне что-то как будто лопнуло. Я рывкнул, что вовсе не фантазирую, что меня вчера вечером обокрали, что я ничуть не шучу, поэтому вынужден уйти из школы, хочу я этого или нет, и я уйду, хочет она того или нет.

Возможно, если бы она говорила со мной иначе, я бы сдержался. Но классная не сказала свое обычное: «Милые дети», она резко бросила:

— Не фантазируй, — и слово, хоть и произнесенное негромко, разнеслось по коридору, как удар пощечины.

Мне и в голову не приходило фантазировать. Не сдержался я только потому, что она была несправедлива ко мне.

— Это кто фантазирует? — кричал я, не думая о последствиях.

Мамуся, не повышая голоса, приказала мне сию же минуту замолчать. Но я и не думал молчать. Похоже, в голове моей что-то сдвинулось. Потом она еще что-то сказала. Сказала тихо и спокойно. Глядя сквозь меня. Но это спокойствие, ее блуждающий в глубине коридора взгляд взбесили меня. Классная с самого начала разговора не скрывала, как неприятен он для нее и как она хочет побыстрее от меня отделаться. Я еще в субботу понял, что уйти будет не так просто, как мне показалось вначале, но что мне предложат даже мысль об этом выбросить из головы, оказалось для меня неожиданностью. Словно бы это могло что-то решить. Ничего, абсолютно ничего это не решало, только еще больше осложняло.

В класс я вернулся совершенно опустошенный.

Я уже жалел, что не сдержался. Это тоже не выход. Все еще только больше осложнилось. Злость прошла. Я понимал, что наговорил глупостей, что был несправедлив. Но исправить ничего было нельзя. Поздно.

Во всем теле была какая-то слабость. Руки повисли вдоль тела. Я даже пальцем не мог шевельнуть. Понял, как беспомощно чувствует себя человек, испытывая идиотское бессилие перед лицом неизвестности.

Речь шла не о каком-то паршивом электричестве в нашей квартире, речь шла обо мне. О том, как жить мне далее.

Прозвенел звонок, и начался урок химии. Ребята, а вместе с ними и химичка смотрели на меня как на пострадавшего в катастрофе, но мне было на все наплевать. Наплевать на то, как они смотрят и смотрят ли вообще.

24

— Ты такой правильный, что просто противно, — сказала Рудите.

Я сидел, опершись спиной о шкаф, и молча слушал ее упреки.

— Почему ты такой?

Когда шел к ней, я не надеялся ее встретить. Но все-таки шел, потому что идти было некуда. Некуда было деться, не с кем поделиться одолевавшими меня в тот день мрачными мыслями о будущем. К счастью, Рудите я все-таки встретил.

— Чего молчишь? Ответь — почему ты такой? — принялась она теребить меня.

Настоящий садизм.

— Какой?

— Такой правильный и еще трус в придачу.

— Я не трус.

— Трус! Думаешь, не вижу? — бросила она, продолжая подбирать раскиданные по всей комнате вещи.

— А вот и нет! — вышло, конечно, глупо.

— А вот и да! — так же глупо ответила Рудите, вытряхивая прямо перед моим носом какую-то хламиду.

— Перестань! — я демонстративно чихнул. — К твоему сведению, и не собираюсь с тобой спорить. Меня трудно вывести из себя, но уж если выведешь, то надолго, — солгал я, глядя в глаза.

— Бог ты мой, какое благородство! Сплошные плюсы! И вывести из себя нельзя, и разозлить нельзя. Не значит ли это, что ты считаешься только с собой, остальные же просто недостойны твоего внимания. А это значит, что не такой уж ты благородный и положительный. Благородные и положительные так не поступают. Благородные и положительные считаются с мнением своих современников. Они волнуются, переживают, — продолжала она упрямо, видно всерьез решив меня разозлить.

Никак я не мог приноровиться к быстрой смене ее настроений. Индра вела себя совсем по-другому. Человек сознательный, она никогда не позволяла себе вымещать свое настроение или злость на другом. Обычно я даже не

мог сказать, какое у нее настроение — плохое или хорошее. И когда я спрашивал: «Индра, как настроение?», она недоуменно пожимала плечами.

А у Рудите наоборот — настроение менялось чуть не каждую минуту. То ее охватывала беспричинная тоска, то ей хотелось смеяться, то ни с того ни с сего плакать, то вся она была сама нежность, и тут же на нее накатывало беспричинное недовольство.

Я считал, что она избалована. Но как ни объясняй себе это, а такое непостоянство угнетало.

Я сидел, опершись спиной о шкаф, и молчал. Ждал, когда ей все это наконец наедост. Похоже было, что никогда. Она говорила без умолку. Ходила по комнате и говорила не закрывая рта. При этом она что-то делала, но делала как-то хаотично, взяла, например, со стула блузку и переложила ее на диван, повторяя все время, что я ужасно серьезный. Потом отошла к окну, подергала занавеску, посмотрела на улицу и принялась перечислять все мои дурные наклонности, что я, мол, все усложняю до невозможности, простые вещи превращаю в неразрешимые проблемы и в то же время не способен ориентироваться в простейших ситуациях. Потом, зачем-то переложив книги на столе, сказала, что я только и умею что ныть и жаловаться, без конца рассуждать, но даже пальцем не пошевелю для пользы дела, и это тоже можно отнести к моим отрицательным качествам.

А может быть, она в чем-то права?

Говорю «может быть» потому, что не хочу об этом думать. Вообще не хочу думать.

Похоже, Рудите нарочито демонстрировала свою занятость, давая понять, что Юркус явился не вовремя. А может быть, моталась по комнате и боялась сесть потому, что так ей проще было обвинить меня в чрезмерной серьезности, непредприимчивости и черт знает в чем еще. Этак, мотаясь по комнате и не глядя другому в глаза, можно ведь наговорить действительно черт знает что, правду и чушь вперемешку. Но мне смертельно не хотелось об этом думать. Не хотелось думать, и все, хотя, возможно, в чем-то Рудите была права.

«Черт возьми, не явился же я сюда выслушивать упреки», — подумал я, когда она сказала:

— Пойми, в нашем возрасте нельзя воспринимать жизнь так серьезно. А ты ведешь себя как старик. (Словно быть серьезным означало бог знает какой грех, которого полагалось стыдиться.) Можно подумать — тысячу лет живешь на свете. Ну, по крайней мере тридцать. Но молодость бывает только раз в жизни, поэтому надо жить на всю катушку.

К словам Рудите я относился не очень-то серьезно. Это не Индра. Тем более я знал, что Индра ничего подобного не сказала бы. Хотел спросить, как она понимает слова «серьезный» и «на всю катушку». Но не успел.

— Да и школу в голову не бери. Хочешь — ходи, не хочешь — не ходи. Да не ходи, и все, — продолжала она. — Что они тебе сделают? Не с милицией же станут тебя приводить. Пусть учителя ломают голову, они за тебя отвечают, им за это денежки платят. Смешно просто!

— К сожалению, это не выход. Смейся, если смешно.

— А где выход?

Я неопределенно пожал плечами.

— Ужас! Опять ты все усложняешь. Да ты хоть знаешь, чего хочешь — не ходить в школу или сидеть и философствовать?

— Хочу найти выход, который позволил бы мне официально уйти из школы. Надо забрать документы и идти работать. Сачковать я мог хоть с четвертого класса, стоило мне захотеть.

— Ах вот как! — Она иронически присвистнула.

— А ты . . . ты сама была сегодня в школе?

— Подвинуся, — сказала Рудите, открывая дверцу шкафа и принимаясь развешивать вещи, которые в конце концов все-таки оказались в одном месте.

Я отъехал со стулом в сторону.

— Не была, — сказала она. (Я, между прочим, так и думал.) — И на твоём месте бы не пошла.

— Я так не хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Чтобы мне разрешили уйти из школы, — повторил я не знаю уж в который раз.

— А тебе, бедняжке, не разрешают.

— И без «бедняжки» могла обойтись. Да, не разрешают.

— Как же без «бедняжки», если ты только и делаешь, что стонешь да плачешь.

— Что-то не припомню, чтоб я при тебе плакал.

— Зато нытья твоего наслушалась. Говорю это тебе для того, чтобы ты понял — у тебя нет другого выхода. Бери пример с меня. Просто перестань ходить в школу! Угрожают, дурачье. А сделать-то ничего не могут. Да не ходи! А ты боишься.

— Не боюсь, — второй раз за каких-то двадцать минут принялся я доказывать. Кому? Себе? Рудите? Не знаю.

Девушка меня не слушала. Знай себе развешивала в шкафу одежду. Когда я поднял глаза, взгляд мой наткнулся на ее грудь. Нас разделяло несколько сантиметров.

Протянув руки, я привлек ее к себе. Рудите не сопротивлялась. Прижался к ней лицом, и она начала гладить меня. Рука ее легко скользила по волосам, по лбу, затылку, а я сидел, прижавшись к ней лицом, и ни о чем не думал. Она гладила меня, как ребенка, честное слово. И пока она меня гладила, все неприятности, все несчастья и неудачи последних дней куда-то отступили. Верьте или нет, но все куда-то исчезло, показалось мелким, незначительным. Отступило и мрачное мое настроение, чувство безнадежности. Сквозь одежду я чувствовал тепло ее тела, вдыхал исходящий от нее запах мыла, увядших осенних листьев и ее пустой квартиры. И хотелось мне только одного — так вот сидеть и сидеть, хоть до первого пришествия. К сожалению, я знал, что скоро все кончится, не может же Рудите меня бесконечно гладить. И как только подумал об этом, так тут же все и кончилось.

Оттолкнув меня и сделав шаг в сторону, она сказала:

— Ладно. Хватит, — и снова принялась приводить в порядок одежду.

Но я еще некоторое время ощущал тепло ее ладони, которая легко скользила по моему затылку, по моему лбу, волосам. Один только раз в жизни я испытал это чувство, но и тогда длилось оно несколько минут.

Мать в то время пила еще не сильно. Значит, было это лет шесть-семь назад. В один из таких светлых периодов она почему-то решила пойти со мной в зоопарк. Я и сейчас еще вижу, как мы выходим из трамвая, пересекаем улицу, вижу возле зеленых ворот за длинным столом переминающуюся с ноги на ногу замерзшую продавщицу в белом халате. Была поздняя осень. На деревьях дрожали последние желтые листья. Продавщица была в шерстяных перчатках. Мать купила мне бутерброд с сыром и пачку печенья. Себе — бутылку пива. Мы присели на скамейку. Ветер задудал со спины. Она выпила пиво, и пока я, счастливый, уплетал свой бутерброд с сыром, она несколько раз легонько погладила меня по голове.

«Как ты вырос, сынок! Как ты вырос! Скоро совсем взрослым станешь», — сказала она. В голосе слышалось удивление. И мне захотелось, чтобы мгновение это никогда, никогда не кончилось. Сидеть бы вот так всю жизнь, всю жизнь есть бутерброд с сыром, а она бы всю жизнь гладила меня по голове и приговаривала: «Как ты вырос, сынок! Как ты вырос! Скоро совсем взрослым станешь!»

Еще и сейчас, когда я вспоминаю об этом, у меня по спине пробегают мурашки. Я слышу шуршанье сухих листьев под скамейкой. Вижу буфетчицу в перчатках. И чувствую запах хлеба и сыра.

Да, я хотел, чтобы мгновение это длилось вечно, но оно прошло, как проходят все счастливые мгновения. Исчезло, растаяло. Счастье на миг коснулось меня, оставив на память воспоминания о легкой дрожи, пробежавшей по телу. И это запомнилось мне на всю жизнь.

Потом мы ходили по зоопарку. Пеликаны, слоны, верблюды, олени, обезьяны, львы. Многих животных раньше

я видел только на картинках. Но они оставили меня равнодушным. Я уже был не в том возрасте, чтобы визжать от восторга, к тому же все время думал о том, что сказала мама, как гладила она меня, и от этого вид у меня был ужасно важный.

Когда мы возвращались, она спросила, что мне больше всего понравилось. Кажется, я ответил, что зубры, не мог же я сказать, что больше всего понравилось мне то мгновение, когда мы сидели на скамейке, я держал в руках пачку печенья, а она гладила меня по голове.

Рудите, не обращая внимания на такой пустяк, как мое присутствие, продолжала копаться в шкафу. С ума сойти можно! Как ей не надоело? Нет, похоже, все это она затеяла нарочно. Но мне не хотелось ссориться. Я встал. Подошел сзади к Рудите, положил руки ей на плечи. Она резко сбросила их. Попытался обнять ее еще раз, но Рудите снова уклонилась.

— Убери руки! — сказала она. — Хватит! Слышишь?

— Почему?

— Потому! — как ножом отрезала Рудите.

У нее была такая привычка. Скажет что-нибудь, как ножом отрежет. Надо так, не надо так! И все, и точка!

Может быть, это говорило в ней ее высокомерие? А может быть, наоборот — было признаком растерянности? Или то и другое вместе?

— Почему? — повторил я, хотя знал — звучит это грубо и надо было сказать что-нибудь другое. — Почему?

— Потому что не надо. Сказано — кончай! — сердито ответила она, снова стряхнув мои руки с плеч.

— А в субботу . . . Помнишь, в субботу . . . ведь ты сама меня пригласила зайти . . . — не удержался я.

— Тогда — да. А сегодня — нет.

— Как это понимать?

— Так и понимать.

— Так мне, может быть, лучше уйти?

— Да! Я не хочу тебя видеть. Ты зачем пришел? Я тебя не приглашала. Убирайся!

Видя, что я никуда не собираюсь, Рудите продолжала:

— Мне в тот день страшно было одной оставаться. Страшно было, что сделаю бог знает что. А ты этак спокойно заявил — в другой раз.

— Откуда мне было знать?

— Надо было знать! Теперь я тебе говорю — в другой раз! — она чуть не кричала.

— Ты нарочно это.

— Нет, не нарочно.

— Нарочно.

— Нет, не нарочно, — она спорила как маленькая. — Ты эгоист. Вы всегда думаете только о себе. На других вам наплевать. И вовсе не такой ты паинька, каким хочешь казаться.

— Перестань, Рудите!

— Сам перестань!

Пластмассовая вешалка с грохотом упала на пол. Хорошо еще, что она не стукнула меня ею по голове. Жалобно скрипнули дверцы шкафа, закрывшись сами собой. А мы еще долго так препирались.

(Продолжение следует)



По смерти оценить поэта сложно. Мицкевич, узнав о кончине Пушкина, сказал: «Талантливый начинающий». В случае Улдиса Лейнертса (1936—1969) сложность состоит еще и в том, что у него успела выйти лишь одна книга — «Хочу остаться на свету» (1966).

Впрочем, в 1974 году вышло составленное Оярсом Вацietисом «Избранное», но многие стихотворения поэта по-прежнему оставались в периодике и в рукописях.

Теперь наследие Улдиса Лейнертса в основном оценено. И результаты, на мой взгляд, поразительны.

Улдис Лейнертс, поэт, который старался прежде всего точно воспринять мир и быть и оставаться самим собой, Улдис Лейнертс, «странник своего пути», оказывается одним из наиболее явных выразителей общего поэтического пути.

...

Читая Улдиса Лейнертса, не однажды ощущаешь — нельзя сказать, что автор добился возможного для него результата. Видишь используемые приемы, понимаешь, вживаешься в тему, в него самого и все же чувствуешь, что не все этим исчерпывается, напротив — с этого все только начинается. Начинается колдовство поэзии.

Но ко всем чувствам и эмоциям, которые вызывает всегда настоящая поэзия, в случае Улдиса Лейнертса добавляется еще и удовлетворение от того, что эта поэзия выдержала проверку временем. Улдис Лейнертс, как и в свои юношеские годы, по-прежнему с нами.

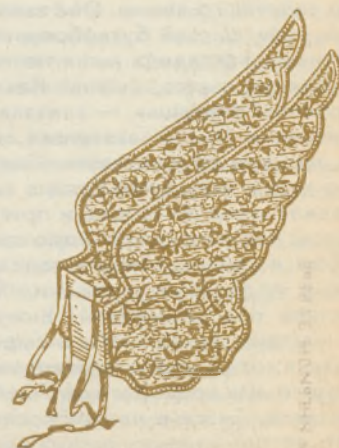
МАРИС ЧАКЛАЙС

Из предисловия к сборнику «Быть Зерном»

У Л Д И С Л Е Й Н Е Р Т С



УЛДИС ЛЕЙНЕРТС





...

Тот,
кто выходит по утрам
через окна моих слов и глаз,
знает мало.

Побитый, но живой
однажды вечером он возвратится
и расскажет,
что происходит там,
снаружи.

...

Что я могу у волны просить?
Волна живет так недолго.

Что я могу у чайки просить?
Чайка всегда голодная.

Что я могу у моря просить?
Шумит море в вечном волнении.

ВАН-ГОГ У МЕНЯ

В те редкие дни,
Когда замкнутый мастер
Появлялся в городе,
Он заглянул и ко мне,
Ведь тогда я
Уже нарисовал само солнце.
Мы вынесли его на крышу —
Застланную листьями газет
(Чтоб глаза не слепило),
И Ван-Гог сказал:
— Теперь все могут видеть,
Какое оно на самом деле.

...

— Всё ещё там, — спустя время, обычно твердят.
— Неподалеку совсем этот дом, взгляни.
И человек, которого давно никто не видал,
Всё ещё тот, да вон он — стоит в тени.

Пусть говорят. Но меня вы уже не обманете —
Нынче учёный я и не поверю молве людской.
Я побывал там и видел своими глазами:
То был другой дом. И человек другой.

...

Косу свою смерть сломала однажды,
Вздохая, пошла другую купить.
Идёт смерть, уж чувствует голод и жажду.
Глядь — у дороги домик стоит.
В дверь постучавшись, как подобает,
заходит, подсаживается к столу.
Хлеб, шамкая, ест, молоком запивает,
поевши, сидит, подперев скулу.
Ложится на белые простыни вечером,
а утром с рассветом дальше идёт.
— Спасибо вам, добрые люди!
До встречи! —
и бурую денежку подаёт.

НА БАЛКОНЕ

Я в полдень вышел на балкон.
За горизонтом, утопающим в зелени,
Некто тонул.

Под вечер на балкон.

Я ночью вышел на балкон
и руку через перила протянул пловцу.

Неразличимый во мраке он лежал на балконе
и тяжело дышал.

БЕССОННИЦА

Какая бессонница,
какая сегодня бессонница!
Тьма поглощает
яблони и заборы,
Мир и сама ночь тонут
в пропастях тьмы.
Беззвучно распахиваются двери,
Ставней оконных чёрные паруса,
Паруса без ветра и цели,
Провисли безжизненно.

Вы предо мной — одно за другим,
Небывалые происшествия,
Люди без прошлого,
Девушка, которая мимо прошла,
Чтобы встретиться с...

С вами ни скучно, ни весело.
Вы не просите ничего,
не приказываете,
Вам так знакомо и привычно всё,
Что во мне граничит с безумием.

ПОРТРЕТ

Не улыбайся
так обнажённо,
голову чуть
вперёд наклони
и налево,
ресницы слегка
опусти,
чтоб полутень
упала на щеку.
Не шевелись.
Я знаю,
ты думаешь
о моих иллюзиях.

...

Быть зерном —
так легко и смешно;

быть зерном,
упасть
и не разбиться.

Быть живым зерном —
погребённым.

Быть зерном —
прорасти и подняться,

лететь
на зелёном крыле.

De Scriptoris Vitalitates

(ор. 12. два фрагмента)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОТЧАЯНИЕ НИКОЛАЯ ЛЬВОВИЧА

Человек, закутанный в цветное английское одеяло, сказал:

На поле битвы, на святом поле Куликовом, что сделали со мною эти сукины дети, о Санджая?

Санджая сказал:

*Labieno cum tribus legionibus relicto**, славные сыны Панду перешли всякие границы: сильный Юдахаменью, бесстрашный Утгамоджа, медноголовый Тритипитака, — все на великих колесницах, — выстроились на большом поле в каре и больше не сдвинулись с места.

Тогда великий царь Хришикеша затрубил в свой подобный волчьей пасти рог.

Петр Вениаминович сказал:

А нельзя ли покороче? Говоришь больше, чем надо, а толку чуть. Мне, например, вот холодно. Я согреться никак не могу, о Мощновооруженный. Вообще у вас тут, я вам скажу, хреново. Бросает то в жар, то в холод, не согреться. И огурцы какие-то невкусные, черт их знает. Вчера вот гандиву потерял. Надоело все это, преподобный, а? Ты чего? Ты чего смотришь-то, а? А-а! . . . Ты что? . . . Ну ладно. Вздремнуть, что ли, еще полчасика, о Кешава?

Санджая сказал:

Они все выстроились друг за дружкой. Немного их было. А вооружены-то! . . . Мама миа! Кто чем. Топорами, вилами. Они стояли и смотрели. Просто стояли и смотрели, никакого вреда от них не было, вот чтоб мне помереть на этом самом месте. Тогда тот, главный, — из этих, — он сказал: Пли! или: Огонь! или что-то еще в этом роде, и все сыны Панду попадали в снег, чтоб мне пусто было. И когда дым рассеялся, то никого, никого из них в живых уже не осталось. Они были верны своей дхарме, Ирина Владиславовна. И поверите ли, я как сейчас все это вижу, так перед глазами и стоит. Белое поле. Заводская стена . . . И они бегут. Они бежали туда, на юг. Знаете, ведь там все-таки потеплее, а тут ведь вечная история: то ангину схватят, то трихомоноз, ведь они же — дети, совсем дети, и вот так! . . . не долюбив, не докурив последней папиросы! . . . И ведь все понимает, все исключительно. Я ему говорю, Гонзик, милый, ну зачем тебе Циммерман!? Ну отдай ты ему Циммермана! И что вы думаете: ни за что не отдаст. Так в зубах и держит. Бывало, заснешь в траншее . . . Тихо, ни ветерка, только австрияк издали пошаливает. А ты спишь и ничего этого не видишь. Ничегошеньки, чтоб мне пусто было, о Парантапа!

Благословенный сказал:

Тут вот всё путаешься под ногами, молчишь, лезешь в душу. Другой на твоём месте взял бы гранату и на чердак. И оттуда короткими очередями, справа сто, ближе пять, под цель, огонь! Больно много о себе понимать стал, о Мощновооруженный. А вот в старые времена, при Алексее-то Ми-

хайловиче, вот тогда я бы на тебя посмотрел. Тогда не чинились. Будь ты простой казак, будь ты боярского роду, всех под одну плашку. Потому, брат, сансара! Ты с ней не шути. Как закрутит, костей не соберешь, о Дваждырожденный.

Санджая сказал:

Вняв словам Мадхусуданы, жалостью тяжело томим, поднял Пандава автомат и шварк его об колесницу! И покуда бубны били и литавры, покуда Хришикеша рогом своим пернатым около того незнакомого поселка на два метра вниз в ящик сыграл (чтоб мы все так жили), покуда сыновья Дхритараштры уносили раненых и Драупади уткнулась в платочек свой гороховый на городском валу, покуда Бхишма с Дроною, надрывая глотки, орали, чтобы эскадрон держался правой стороны и колесницу не заносило, покуда било всё и дрожало и земля ходила ходуном вокруг своей оси, он, Каунтея наш венценосный, он, понимаете, застыл на месте, очки снял, стоит, стеклышки протирает платочком, а из очей слезы текут. Елки-палки, вот время нашел, о Партха! Там, знаете, еще был этот, как его, князь Бенареса, бык среди людей! чтоб мне пусто было, и тот пасть разинул и ни туда ни сюда. И вот мы все так стоим как засватанные и смотрим. А тут все чего-то заволокло, и видим только, Благословенный с козел слезает, морда злющая, подошел к нему, гандиву поднял, отряхнул от снега и говорит.

Дваждырожденный сказал:

Смерть, кровь, бессмысленно всё это. Павел Иванович, друг ситный, бессмысленно, как ты сам не понимаешь. Вот вчера еще только так хорошо было, сидели уютно, в подкидного дурака играли с Юдхистхирой, а? Но я лучше тебе все по порядку расскажу, хотя ты и сам прекрасно помнишь. Я сидел за письменным столом, вот за этим самым, который тогда алкоголики привезли. Наша ветхая лачужка была убога и темна, что верно, то верно, но розы, вспомни розы в цветнике напротив рядом с жилищем герра Франца. Помнишь герра Франца? Мой Бог, ведь это было еще во времена сухого закона. Я сидел за столом. И писал, писал . . . В камельке — иногда — горел огонь. У Федота Кузьмича тогда сильно ломило поясницу, он неохотно спускался за дровами. Потом старуха Ауфцоген — помнишь старуху Ауфцоген? — она не выдержала и принесла нам пневматический электрорефрижератор. Циммерман тогда едва не выгнал ее из фирмы, ведь нагревалку она стащила из его кабинета. Отчаянная была старуха. Циммерман с ней намучался, помнишь?

Циммерман сказал:

Не будем отвлекаться, панове. Вспомните лучше всё как было хорошенько. Вот вы, Исаак Моисеевич, стояли вот здесь. А вы, Соломон Борисович, со своими головорезами вон там, у флешей. Флеши! Вы помните, какие мы с Циперовичем построили флешей!? Э . . . да я вижу, вы все забыли. Фарбштейн с тремя легионами обходил противника вброд. А Хаим Лазаревич — мир праху его — Хаим Лазаревич на боевом скакуне чегез гоги и овгаги . . . Пусть ему будет там лучше, честное слово!

Дваждырожденный сказал:

* Оставив Лабиена с тремя легионами . . . (лат.) Цезарь. Записки о Галльской войне. — Прим. ред.

Пойми, так нельзя. Дело не в присяге. Присяга — тьфу! Но возьми в толк, ежели все кшатрии будут плакать над трупом каждого пристреленного гяура, тогда некому будет писать книжки. Ты гандивой-то не махай, не казенная! Долг, мон шер ами, долг. И неважно, совсем неважно, ты укокошишь Дурьодхану или Дурьохана тебя укокошит. Дело не в этом. Да ты слышишь ли меня, а? Парантапа!

Каунтея сказал:

Да слышу, говорит, не глухой. Это все верно, Коля, что ты говоришь. Я понимаю, мы не можем видеть всей красоты и целесообразности мира. Господи Иисусе, мы ужасаемся инквизиции и газовым камерам, я все понимаю, благословенный, но иногда, особенно по утрам... Вон гляди, горный верблюд стремительно бежит по пустыне. Поди, пожалуй, объясни ему, что шашлык — это очень вкусно и целесообразно. Я знаю, ты скажешь, что этот верблюд — может быть, моя собственная аватара. Но верблюду это все равно. Сдохнет он сейчас, верблюд этот, вот тогда и объясняй ему, чья он аватара.

Верблюд сказал:

А вот и не сдохну, вот и не сдохну. Выкуси! Я еще сто лет, может, протяну на акридах и верблюжьей колючке. Много ли мне надо. Но что это? В меня целятся. Из пулеметов по верблюдам? Ну нет. Убегаю, убегаю, убегаю!

Санджая, сказал:

Все смешалось в доме Облонских. Хришикеша застыл над поверженным ниц сыном Кунти. Мама миа, совсем расклеился, Дваждырожденный. А главное, я вам скажу, куда все делось? Поле это проклятущее, заводские трубы, траншеи, вырытые голодными детьми Ленинграда? Что говорить, если у Царя Кашй, у Бенаресы этого бессовестного, и у того палец застыл на спусковом крючке. Всех как ветром сдуло, кругом ни души. И верблюд куда-то делся, а я за него потом отвечай. Ё-моё, чего людям не хватает — одеты, обуты. С жиру бесятся, ей-богу. Вот взять, например, того же Бенаресу. Вон смотри, как его разнесло. Э, да что там!..

Арджуна сказал:

Среди двух войск останови мой БТР, о Неизменный, чтобы я мог видеть стоящих здесь алчущих сражения ратников. При виде моих родных, выстроившихся в боевые порядки, о Кришна, ноги мои подкашиваются, и гортань моя высыхает, и волосы поднимаются дыбом.

И вижу я зловещие предзнаменования, о Кешава! И не предвижу никакого добра от этой братоубийственной бойни.

Не желаю я ни победы, о Кришна, ни царства, ни наслаждений; к чему нам царства, о Говинда, к чему наслаждения или сама жизнь?

Не должны мы убивать сынов Дхритараштры, наших родичей, убив их, как можем быть счастливыми, о Мадхава.

Если бы меня самого, безоружного, несопротивляющегося, вооруженные сыны Дхритараштры убили бы в бою, мне было бы легче.

Санджая сказал:

Промолвив это на поле битвы, Арджуна опустил на сиденье колесницы: охваченный скорбью, он бросил лук и стрелы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАЛЬ И ДАМАЯНТИ

Женщина, закутанная в цветное английское одеяло, сказала:

В девятьсот пятом, на баррикадах. Как сейчас помню. Дайте-ка прикурить, мингер Питер. Я его сразу узнала. На нем был галстук, такой, знаете, дымчатый в пеструю клеточку, столыпинский. Боже мой, как он был красив, если бы вы знали. Он закричал: За мной, товарищи! И все побежали за ним, как угорелые. Не многие тогда вернулись. Но он вернулся. Все лицо изрублено кривой татарской саблей. Он был в жару три дня. Я ни на миг не отходила от него. Во сне он пел гимны свободе, скандировал какие-то стихи четырехстопным амфимаком. А потом

затих. И все, знаете, пить просил. Так жалобно. А пить-то ему нельзя было. Врачи запретили. Ведь все кишки выпустил ему фриц наружу. Был у нас доктор, из бывших. Ничего, говорит, Петруха, до свадьбы заживет. Какое там. Думали, до утра не протянет. Но гигантская воля к жизни и здоровый организм взяли свое. На следующее утро он уже летел впереди эскадрона на боевом верблюде. Такие были люди тогда. Где-то он теперь! Заблудился, Павлик, заблудился. В Калифорнии ведь теперь что! Будь ты белый, будь ты цветной — всех под одну плашку, во Вьетнам. А как он красиво пилотировал на боинге, заглядене. Я как сейчас помню, когда ему вручили орден Почетного Легиона, Президент Вильсон сказал: Вот такие парни и делают Америку великой страной. И заплакал. Ты помнишь, Билл? А как мы напились на его Нобелевскую премию! Ведь он любил меня, Билли, ты же знаешь. И вдруг. Вот так. Ни с того ни с сего. Не докурив последней папиросы. Ну что ты молчишь, Билли, скажи что-нибудь. О, майн Готт!

Билли сказал:

Не знаю, мэм, не знаю. Конечно, на всё божья воля. Но тогда, в семнадцатом, я говорил ему: Не лез бы ты в эту кашу, парень. Вздернут тебя, будешь знать. Уж вы извините, мэм, так и сказал ему тогда: Висеть тебе, говорю, парень, на электрическом стуле. А он набычился, заложил руки в карманы и запальчиво так мне: Теперь, говорит, или никогда. Промедление смерти подобно. А лысина так и сверкает. Что ты с ним будешь делать! Ну, дали ему двести ребят из нью-йоркского центра. Ну, перебросили их. И что ты думаешь, через три дня, глядим: ёлки-молатки. Добился-таки своего, сукин сын! Наши ребята очень его тогда зауважали. Но я в эту затею все равно не верил. И точно. Передрались, как тараканы в банке. Головы друг дружке поотсекали. А твоему только этого и надо. Сразу на лошадь: Версаль туда, Египет наш, Англии кукиш, Австрию к ногтю! А там континентальная блокада началась. Если бы не старик Барклай, так и лежал бы ваш муженек, мэм, в степях Херсонщины. Уж вы извините меня за откровенность. У нас, цветных, все принято говорить начистоту. Да вы не плачьте, лучше давайте я вам сыграю «Блюз Черного Кота»...

Миссис Кэт сказала:

А у нас в семье было принято считать, что негры ни черта не смыслят в музыке. Я ведь родилась в Джексоне, штат Миссисипи. У моего папы там, помню, были рисовые плантации. Когда мы услышали, что наш Билли в Чикаго на своем ф-но загребает по две тысячи долларов за вечер, мы едва не померли от смеха. А потом я увидела его сама. Он был во фраке. Представляете? Негр во фраке! Меня такой смех разобрал — ну обезьяна обезьяной. Тут он как ударит по клавишам. И там еще двое черномазых с ним наяривают. Поверите ли: я все забыла — и Бостон, и моего болвана Эджертона, и аптеку нашу на Сарджен-скуайер. Ай да Билли! Тогда я первый раз подумала: может, и зря наши прикончили этого поддипалу-янки Линкольна. Всё смешалось у меня в башке: и Билли, который подкрадывался когда-то ночью, еще при Теодоре Рузвельте, к моему окошку и все шептал: не бойтесь, мисс Кэт, не бойтесь; и мой благоверный провизор Хью Эджертон в круглых очках, как у Харолда Ллойда; и Бостон и Хьюстон, и сталелитейный комбинат в Свердловске. Нет, я уверена, что отец у Билли был белый. Черномазые не могут так играть! Я даже припоминаю одного джентльмена, который заезжал к нам на ранчо. Он был из Старого Света. Не помню уже точно, как его звали. Не то Петр Николаевич, не то Николай Ильич, короче говоря, в России он был известный аранжировщик, или как они там говорят, композитор, что ли... Так вот, он очень заинтересовался нашей Молли. Потом началась война с бурами, русский погиб на баррикадах — они все почему-то погибают на баррикадах, — а может быть, он замерз у себя на родине или его волки загрызли, там у них это запросто. Ну, что вы смотрите, думаете, старуха Ауфцоген совсем спятила? Ну, погодите у меня.

Санджая сказал:

Ну что вы, сударыня, вы просто немного переутомились. Мы все сегодня не в своей тарелке. День уж выдался больно бестолковый, знаете ли. Мало ли что взбредет в голову в такую погоду!

Петр Вениаминович сказал:

А ты вообще помалкивай, краснокожий. За твой скаल्प в салуне не выручишь и трех эскудо. Вы все здесь мерзавцы и мошенники. Я бы всех вас перевешал, если бы не ахимса. Кормят тухлыми огурцами, и покоя никакого от вас. Ну что вы заладили: Билли-Билли, как будто черномазый стоит столько разговоров. Вы вот лучше ее послушайте. Ну, Мэриам, скажи, мы слушаем, ну пожалуйста, Мэриам.

Мэриам сказала:

Да я все уже сказала, что знала. Мы обвенчались в Праге. А потом поехали по чугунке в Санкт-Петербург. Но мне там не понравилось. Ветер гуляет по реке, дождь, жара, страшное дело. Он мне говорит: Смотри, Маша, это же крейсер «Аврора», мы на нем в кругосветное плавание ходили. А что мне крейсер. Я тогда уже на четвертом месяце была. Поедем, говорю, Паша, в Подмосковную к твоим. А крейсер подождет. Да не дождался крейсер. Стрельнул! И все пошло кувыркком. Где искать, куда податься? Тут холода настали, а мне рожать. И он как сквозь землю провалился. Кругом война, неразбериха, смута, те, другие, трети. Тушинский вор еще какой-то объявился. Уж, думаю, не мой ли это? Подалась в Тушино. Там новый микрорайон как раз отстроили. Гляжу, нет, не мой. Вы бы, говорит, мамаша, подались бы в Вену. А куда я с малым-то на руках. Спасибо, профессор Юнг Карл Густавович не забыл Пашу. Только не было его там. Ни в Вене, ни в Аустерлице. Даже на Гавайских островах искала. Малой уж подрос. Институт кончил. Взводом командует в Корее. Десантник! В отца пошел. А я все глаза проплакала.

Николай Львович сказал:

Я никогда не забывал о тебе, любимая. Всегда образ твой стоял у меня перед глазами. И когда болван Робеспьер шил мне гильотину, и когда под Верденем вшей кормили, и когда в сыпняке лежал без сознания в Константинополе. И когда Варшаву брали, и когда Днепр форсировали, и даже когда озверевшие хамы сожгли нашу библиотеку в Подмосковной. Собственной кровью начертал я твое имя на стенах рейхстага. И я искал тебя повсюду: и в Вене, и в Праге, и в детских домах Гамбурга, и на Гавайях, где мы, может статья, разошлись в одно время по параллельным каналам. И всегда я говорил себе: Я найду ее, я буду искать и найду. И вот кончилось все, отгремели войны и революции, сэр Уинстон Черчилль скончался, не стало Витгенштейна, Пятигорский уехал за кордон. А я все искал и искал. И вот я нашел тебя. Что же ты потупилась в смущенье? Годы не смогли разлучить нас. Расстояния оказались бессильны перед нами. Что же ты молчишь и не говоришь ни слова?

Санджая сказал:

С этими словами, по свидетельству Плиния Старшего, он припал к ее ногам, а она молча положила руки ему на голову, и так они застыли в неподвижности, обретшие друг друга после долгих скитаний по свету.

1984

НЕИЗБЫВНЫЕ ГРЕЗЫ ЛУННОГО СТРАННИКА

Посв. А.

Старик Перельмуттер похож на чучело засушенного пингвина.

Вот он идет в филармонию по улице.

Правой ногою старик Перельмуттер загребает налево. Левую ногу выбрасывает вперед. Выглядит это весьма выразительно. Прохожие жмутся к стенам домов. Водители троллейбусов теряют сознание.

Но иногда, когда ему очень захочется, старик Перельмуттер идет степенно, заложив руки за спину и ни на кого не глядя. Прохожие уважают старика Перельмуттера в этот миг. Водители едут на красный свет, и все могут подтвердить, что именно так неоднократно бывало.

А кому хочется вступать в соприкосновение с тем предметом, который старик Перельмуттер носит на себе, выдавая это за зимнее пальто, оберегающее его от мороза. Нет, вы только посмотрите! У него просто талант на подобные фокусы. Никто не в силах разобрать, из шкуры какого зверя соткан воротник, опоясывающий со всех сторон пальто старика Перельмуттера. А может быть, это не воротник вовсе, а дохлая ворона свалилась ему на спину и так и застряла, но постепенно спускается все ниже и ниже. А может быть, она свалилась еще живая, и уже там, на старике, сохла.

Утверждают, впрочем, что видели старика Перельмуттера в замшевой дубленке, но врут, врут! Когда-то, может быть, в забытые времена, во фраке...

Кое-где выглядывают из карманов перельмуттеровского пальто носовые платки всех степеней и калибров. Я бы не посмел даже назвать эти носовые платки грязными, упаси меня Боже! Скорее это гипсовые слепки носовых платков, коими старик Перельмуттер поминутно раздирает свой заскорузлый нос, эту невиданных размеров музыкальную шкатулку, из недр которой льются нежнейшие звуки, когда старик Перельмуттер поднимается по лестнице, доставая один платок за другим из своих необъятных карманов, как в цирке фокусник белых лебедей. И летят они камнем вниз, на ковер, на блеск филармонических паркетов и скатываются к подножию вестибюля. Вся лестница усыпана грохочущими платками старика Перельмуттера. А он достает все новые и новые, и несть им числа.

Старик Перельмуттер любит публично выражать недовольство качеством исполнения тех или иных музыкантов. Он кричит на весь зал, что нет, так не играют! И лучше не возражать старику Перельмуттеру, засморкает до смерти!

Однажды на концерте Берлинского Филармонического оркестра старик Перельмуттер вскакивает и с криком: Разве это Брукнер?! Так не играют Брукнера! — проламывает ряды своими как нарочно разгулявшимися сапогами.

В антракте ему объясняют: Да, это, конечно, не Брукнер. Это Брамс. Но старик Перельмуттер не верит. Нет, Брукнер, бубнит он, но Брукнера так не играют. И Брамса так не играют!

Зрители сторонятся старика Перельмуттера, боясь, как бы не задел он их сапогом.

Старик Перельмуттер возвращается с концерта домой на троллейбусе, где все места заняты принадлежностями его туалета: шапкой, палкой, пуговицами от пальто, которые болтаются на столь длинных нитках, что можно подумать, они растут на нем, растут, набухают и падают слепые Перельмуттеровы пуговицы в лужи, в канализационные люки, об них спотыкаются, падают, ломают руки, ноги, шею, умирают, а они вырастают вновь и вновь колосятся, наливные, на тонких своих стебельках.

Но вот уже старик Перельмуттер подходит к дому своему. Все соседи давно предупреждены об этом. По сигналу воздушной тревоги окна, люки и шели задраены, бомбоубежища ломятся от стариков, женщин и детей.

Старик Перельмуттер отпирает дверь своей квартиры, прыгающими пальцами ключ в замочную скважину засадить норовя. Шуму от этого столько, что уж лучше б позволил он, все равно дверь открыта. И дома давно поджидает старика Перельмуттера жена.

Но пожалуйста, прошу вас, умоляю, не надо об этом. Если есть Бог на небе, ведь не фашисты мы в самом деле какие-нибудь. О, я не хочу, чтобы вставали волосы дыбом, чтобы глаза вылезали из орбит, чтобы судорогой сводило руки и ноги. Захочешь кричать, но голосовые связки откажут, и никто не услышит тебя.

Старик Перельмуттер со звоном громоздит пальто на вешалку. Вы слышите перезвон Перельмуттеровых пуговиц

и перестук носовых платков, тоскливый, вы видите, как искрится и переливается на солнце мех на воротнике от пальто старика Перельмуттера? Нет, вы ничего не видите и ничего не слышите, уверяю вас.

Нет, разве это Брукнер, говорит старик Перельмуттер, разматывая подобное канату для лазанья кашне. И жена...

Но нет! Ни слова больше, довольно ночных кошмаров, недонорожденных младенцев, довольно обмороков и истерик, довольно, господа!

Давайте жить прилично.

Старик Перельмуттер, разбрасывая вокруг себя обувь обеими ногами, приближается к своей комнате и с грохотом скрывается в ней. Больше его никто не видит и не слышит.

Он подходит к подзеркальнику, стягивает с головы безобразный парик с лысиной и рыжими вихрами, вынимает фальшивые зубы, стаскивает бутафорский нос.

Он подходит к окну и долго смотрит на огоньки фонарей и светящиеся окошки. Ах, Вильгельм, Вильгельм, — бормочет он, — сегодня ты превзошел самого себя, о, какой это был Брукнер!

Он долго смотрит в окно. Там из окна открывается его взору мир, где живут люди, которые ездят на троллейбусах, едят мясо, слушают музыку и ходят в кино. Там живут разные люди.

Он очень любит людей, но из скромности не хочет, чтобы они об этом догадавались.

Еще он любит в полнолуние смотреть на луну и долго, глядя на нее, тихо смеется, как ребенок.

О чем он думает? Одному Богу это известно.

А иногда он забывает, что рядом никого нет, что его никто не видит и не слышит. Что он один на белом свете.

Тогда он достает носовой платок и громко сморкается.

1985 г.

БЕДНЯГА МАЙКЛ

(ор. 14)

События реальной жизни зачастую кажутся нам настолько фантастичными, что, пожалуй, их иной раз не отличишь от вымысла; что же касается вымышленных событий, то они, напротив, порой до такой степени близки к реальности, что если бы мы захотели распутать этот безнадежно запутанный клубок, тщетно пытались разобраться и поставить все на свои места, то наверняка сломали бы себе шею. Стоит ли пытаться в таком случае?

Может быть, и стоит.

Майкл вышел на улицу. Он поминутно оборачивался, так как боялся слежки, хотя и сам не знал, почему. С некоторых пор он всегда боялся выходить на улицу из подъезда. Оглядывался по сторонам, ускорял шаги. Через несколько минут это проходило. Улицы защищали Майкла. Просто он боялся выходить из подъезда. Это он однажды понял: подъезд — вот где собака зарыта. Он боялся выходить из подъезда. Но через несколько минут забывал об этом. Улицы оберегали его. Грохот автомобилей делал его недосягаемым для невидимых соглядатаев. Через несколько минут Майкл шел по улице, не думая ни о чем таком. Страх покидал его до следующего выхода из подъезда.

Однажды он явственно услышал, как его окликнули: «Майкл!» Он резко обернулся. Никого не было. Только мимо проехал почтальон на велосипеде. «Майкл!» Нет, это был другой голос. Страх опять прошел. Майкл даже захотел, чтобы его позвали еще раз. «Позови меня, — захотелось сказать Майклу, — позови, я приду». Но его больше не звали.

Майкл Тэрнер, Лос-Анджелес, штат Калифорния, возраст 28 лет, музыкант (фортепиано, ударные), закончил консерваторию в Бостоне в 1978 году, стажировался у В. Горовица. Безработный. Впервые выступил с публичным концертом в Карнеги-Холле 5 февраля 1976 года. «Сэтердей

Мьюзишн» писала о нем: «Тэрнер покорила аудиторию невиданным размахом музыкального интеллектуализма. Со времен Глена Гульда и Дину Липати Америка не слышала ничего подобного».

Тэрнер исполнял «Искусство фуги» и «Хорошо темперированный клавир» на инструментах фирм «Бехштейн» и «Стейнвей». Мир еще не слышал такого Баха. Казалось, что сам Иоганн Себастьян вошел в душу молодого музыканта и водил его пальцами по клавиатуре. Однажды в Лондоне после концерта, когда Майкл вышел на улицу из филармонии, к нему подошла такая же, как он, тщедушная с виду и светловолосая девушка в голубом свитере и джинсах. Она сообщила Майклу, что он здорово играет Баха. И еще что ее зовут Катрин.

Майкл и Катрин.

Катрин была этнологом, училась у Клода Леви-Строса, большую часть жизни проводила среди туземцев Африки или на островах Малайского архипелага. Она рассказывала Майклу о племенах мбенгу и ндэмбу, исследованных однофамильцем Майкла Виктором Тэрнером, о русских формалистах и Тартуской школе. Они спорили о лингвистической философии позднего Витгенштейна и о взглядах Шпенглера и Тойнби на судьбы цивилизации. Через полтора года после того, как они поженились, Катрин погибла в очередной экспедиции. Майкл узнал о гибели Катрин в Бостоне, где он находился на гастролях. Он открыл газету, увидел заголовок, и у него отнялись руки. Майкл выронил газету на асфальт и с тех пор больше не прикасался к фортепиано. Некоторое время он работал ударником в трио Джерри Маллигана. Потом Майкл стал терять чувство ритма. Его обследовали в клинике и сказали, что у него невроз зоны Брока, расположенной в правом полушарии. От радикального лечения электросудорожным шоком он отказался.

Майкл жил на проценты с небольшого капитала, оставленного ему по завещанию Катрин. Но эти деньги, в сущности деньги ее отца, лесопромышленника из Огайо, которого Майкл никогда не видел, не спасали его от ежедневных выходов из подъезда, сопровождавшихся чувством страха, беспокойства и тревоги. Он менял квартиры и города. Пробовал жить в Лондоне, в Буэнос-Айресе, в Мадриде, в Праге. Потом смирился и вернулся на родину.

С тех пор, как Майклу почудилось, что его позвали, выход на улицу сделался для него наркотически нестерпимым и желанным. Он то и дело резко оборачивался, застыл на месте, прислушивался, ускорял или замедлял шаги. Однажды к нему подошел человек, который представлялся известным психоневрологом и психотерапевтом. Он много говорил об Адлере и Юнге, о новейших достижениях экспериментальной патопсихологии и психотерапии. В комнате Отто Майкл увидел старую фотографию, вырезанную из вечерней газеты: они с Катрин на фоне Вестминстерского аббатства. Отто рассказал Майклу, что следит за их судьбой чуть ли не с момента их встречи. «Все очень просто, — сказал Отто, — ты сейчас зайдешь вон в ту дверь, сядешь за рояль и будешь играть, понял?» Отто был не похож на шутника или шарлатана. Майкл еще при жизни Катрин читал его статьи в «Майнд» и «Сайкологикал Сесайти».

Майкл вошел в комнату. Возле окна стоял черный бехштейн. Майкл сел к инструменту и заиграл первое, что пришло в голову. Это был финальный контрапункт из «Искусства фуги». В середине недописанного вследствие смерти автора опуса, там, где начинается разработка темы в — а — с — h, Майкл поднял глаза и увидел возле рояля Катрин. «Ты по-прежнему здорово играешь Баха, Майкл», — сказала она.

12 ноября 1986 года «Дейли Ивнинг Пост» сообщила о том, что накануне вечером на углу Третьей авеню и Кэннеди-сквайер был убит выстрелом в затылок в прошлом выдающийся пианист Майкл Джэралд Тэрнер. «С каких это пор, — говорилось в конце статьи, — в Америке великие музыканты погибают под забором, как собаки?»

Майк, Катрин, Отто, конечно, вымышленные персонажи. То, что произошло с ними, никогда не происходило в

реальности. Но если так рассуждать, то и мы с вами не имеем к реальности никакого отношения.

1986

ПРИМРОУЗ И ФРЭННИ

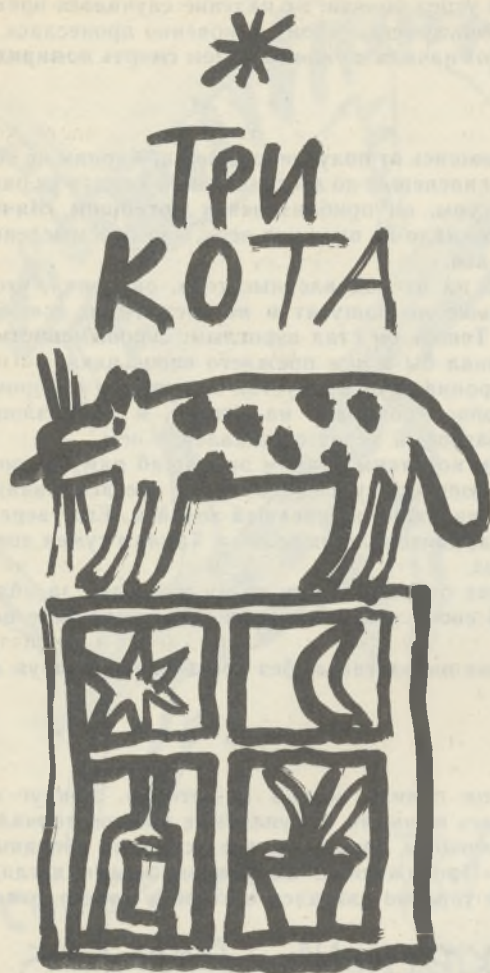
Посв. Б. Ш.

- Так! Какое сегодня число?
- Вторник, сэр.
- Отлично. Ужинать так ужинать.
- С удовольствием. Чертовски хочется есть, сэр.
- Руки мыли?
- Да. То есть нет. Не успеть было.
- Вот видите! Так какое сегодня число?
- Вторник, сэр.
- Отлично. Ужинать так ужинать.
- Я в полной готовности, сэр. Вот только руки...
- Руки отпилим потом, если не будет возражений с вашей стороны.
- Какие возражения, сэр? Конечно, потом. До этого ли сейчас!
- Вот именно. Приступим. Проспрягайте глагол *venio*.
- *Venio, veni, ventum, venire*.*
- Так, *venire*, замечательно. Я дурно спал сегодня, деточка.
- Неужели и снотворное не помогает?
- Я их терпеть не могу. Выбрасываю за окошко. От них все тело идет красными пятнами. Так какое сегодня число?
- Вторник, сэр.
- Отлично. Ужинать так ужинать.
- Ух как есть хочется. Руки мыть, сэр, или отпилим потом?
- М-м, передайте миссис Ларсен, чтобы не говорила под окошком.
- Миссис Ларсен, не говорите под окошком. Вы разбудите сэра Уильяма.
- Ну? Что она говорит?
- Она теперь ничего не говорит, сэр.
- Отлично. Ужинать так ужинать. Какое сегодня число?
- Вторник, сэр.
- Черт возьми, завтра у меня зачет. Где же мои очки?
- Вот они, сэр.
- Недурно смотрятся, правда?
- Великолепно, сэр.
- Тогда вот что. Не проспрягать ли нам глагол *venio*, а? Мне кажется, так будет лучше.
- Сейчас, сэр. *Venio, veni, ventum, venire*.
- *Venire!* Правильно. Я отвратительно спал эту ночь, вам, наверно, так и не снилось.
- А если все-таки попробовать снотворное?
- Ха! И это вы говорите мне? Какое сегодня число?
- Вторник, сэр.
- Ага! Ну что ж мы стоим. Ужинать так ужинать.

* Прихожу, пришел, пришедший, приходиться (лат.).

- Блестящая мысль, сэр.
- Ну что же очки? Где они?
- Вот они.
- Хм. Недурно смотрятся, правда? Какое сегодня?..
- Вторник, сэр.
- М-м. И в самом деле вторник. Ну что ж, займемся делом.
- Сейчас, сэр.
- Bravo! Еще раз. Кстати, вы не знаете хорошего средства от бессонницы?
- Не знаю, сэр.
- А если все-таки попробовать снотворное, как вы думаете?
- А какое сегодня число, сэр?
- Да вроде вторник.
- Ну вот видите! Давно пора ужинать.
- В самом деле. У меня просто волчий аппетит.
- Что же вы стоите. Ну-ка быстренько — глагол *venio*.
- М-м... Э-э... *venio*...
- Так.
- *Veni*...
- Bravo!
- *Ventum*.
- Великолепно!!
- *Venire*.
- Вот именно, *venire!* А какое сегодня число, вы помните?
- Вторник, будь я проклят!
- Ну вот видите. Быстро мыть руки и ужинать.
- Ужинать? Славная мысль. Только где же достать напильник?
- Миссис Ларсен, напильник!
- Так. Очки. Где мои очки?
- Вот они.
- Что ж, смотрятся недурно.
- Сон — первое дело, сэр.
- Да ведь сегодня вторник...
- Что правда, то правда.
- *Venio, veni, ventum, venire*.
- Очаровательно. А где же ваши очки?
- Вот они, у миссис Ларсен на носу.
- После ужина неплохо вздремнуть полчаса, а?
- А потом сразу примемся за работу.
- Вот именно.
- И какое тогда будет число?
- Вторник, сэр.
- Какой длинный день! Как будто спишь наяву. Кстати, вы пробовали вот это снотворное?
- Какое, сэр? Дайте-ка очки!
- Очки? Я давно обхожусь без очков! Я их все выбросил в окошко. Зато какой отменный сон после этого!
- Отменный сон, сэр.
- А какой ужин!
- Что и говорить, сэр, ужин удался на славу!
- А глаголы!
- И глаголы превосходные. К примеру, *venio*, особенно если его проспрягать хорошенько.
- И какое же сегодня число?
- Вторник, сэр. У нас с вами теперь всегда будет вторник.
- Вторник... Как странно!..

1987



Сказка

Рисунки АЛЕКСАНДРА ФЛОРЕНСКОГО

Было трое котов: Прохор, Харлам и Терентий. Вместе их связала крепкая мужская дружба, закаленная переменными осадками, ветром, постоянной проголодью и другими вещами, известными всякому, кто жывал на крыше или чердаке и дышал вольным воздухом необозримых пространств.

Терентий сразу, от рождения, был диким. Человеческой ласки и добра не помнил, предпочитал держаться от двуногих подальше. Охотился на голубей и не упускал случая схлестнуться с себе подобным, а того лучше — домашним котом, дать тому по сопатке или устроить «хопель-топель».

Прохор с Харламом были сперва домашними животными и жили себе поживали припеваючи посреди человеческих удобств, даже «ходили» куда и люди, но Прохор, хоть и добрый, не поладил с появившейся в доме шавкой-шмако-дьявкой, визгливой и вздорной; и когда поставил вопрос ребром: — Я или она! — ответ вышел не в его пользу.

— Ладно, — решил Прохор и покинул теплое, уютное место.

А Харлам чудом спасся от одной зловещей операции над собой (для его же пользы, как утверждали хозяева), совершив рекордный прыжок из-под самых ножей в форточку, и постарался сразу и навсегда забыть прошлое, вычеркнуть его из памяти долой.

Сперва они прошли через обоюдную кровопролитную драку, в которой каждый пожертвовал частью своей наружности, но после оценили и полюбили друг друга, решив, что вместе легче будет преодолевать трудности — единственное, чего всегда был весь ассортимент и объем.

Терентий был самым опытным, ловко крал кооперативную колбасу, и если кто болел, мог, пользуясь своим неугасшим инстинктом, находить на газоне нужную траву для пользования.

Прохор хоть и добрый был, но такой здоровущий, что в драках с чужаками не знал равных, горой стоял за товарищей.

А Харлам был остряк и балагур, разгонял печаль, знал много таких окошек, за которыми часто слушали музыку.

Зажили вместе. Бескрайние просторы крыш, таинственные, наполненные чудесами чердаки, лестничные бачки — все принадлежало им. Даже батареи в парадных, как только холодало, нагревались по их желанию.

Каждый думал за троих. Казалось, нет такой опасности, которая испугала бы их, разве что заведись на крышах рыси или тигры.

Однако в натуральной природе есть бездны, каких не постичь даже самому обширному человеческому уму, не говоря о котовом.

Отчего, к примеру, перестает валить снег и начинает греть солнце? Почему люди в оранжевых и зеленых куртках узнают, что пришла пора сбрасывать снег и отбивать сосульки с крыш? Откуда вдруг берется столько бодрости и сил? Зачем надо орать во все горло часами для неизвестных причин? Не будь этих вопросов, вернее ответов на них, не оказались бы друзья перед лицом трагедии, а прожили б свой кошачий век втроем до конца.

* * *

Однажды, шляясь без цели по гремучим кровельным просторам, коты увидели в одном освещенном окне кошку. Кошка удобно помещалась под горшком с развесистой геранью для наблюдения окружающей действительности, открывавшейся в этом месте с самых лучших сторон.

Такой кошки ни один из друзей никогда не видал и, забега в вперед скажем, — никогда не увидит. Такой пушистой, такой зеленоглазой и такой полной кошки еще не создавала природа, вот только к этой весне создала, и то, видно, под самое лучшее настроение. Хвост ее стоял особенного разговора, потому что такого хвоста одного могло бы хватить взамен всей кошки. Ему и места не было под геранью, и он свисал, загибаясь, долу. Коротко говоря, это была воплощенная мужская мечта.

Кошка, конечно, тоже заметила молодцов и нарочно побыстрее приняла свою самую соблазнительную позу, обратившись толстым полосатым кренделем.

Три кота замерли против окна, учтиво потупясь. Им казалось, что кошка излучает свет, так она была хороша. Друзья были еще молоды, опыта любовного не накопили и глядели совершенными дурнями, разиня рты и вытаращив глаза, готовые признать за кошкой превосходство по всем пунктам.

— Сияет! — молвил восхищенно Прохор. Все согласно кивнули. Друзья поняли, что достигли цели, оставалось сделать лишь шаг...

Но будто стекло треснуло. Впервые, вдруг, каждый стал сам по себе и думал за одного себя, не желая знать товарища. Напротив, — чувствуя соседа, ощущал упругость своих мускулов и цепкость загнутых выдвигающих когтей.

Первым нашелся кот Терентий. Он легко подпрыгнул, зацепился одной лапой за открытую форточку, а другую засунул далеко внутрь комнаты, протягивая кошке.

Та, на самом деле порядочная дура, охотно поднялась навстречу, чтоб дать свою. Терентий ловко перехватил ее под мышку и потащил к себе, уверенный, что уж не упустит и что сейчас наступит счастье. Товарищи хоть и заскучали от зависти, но бросились ему помогать своей волей и надеясь неизвестно на что. Прохор подставил спину, а Харлам зацепил другую кошкиную лапу и тоже изо всех сил потянул. Дружные действия имели бы успех, да форточка оказалась мала. Толстуха застряла в ней и не лезла дальше половины. К тому же ей стало больно, и она взялась дико орать. Тут как тут хозяйка — крик, шум... Пришлось ретироваться на исходные рубежи. Коты холодно разошлись, не

Почувствовав невесомость, как неоспоримую разнимающую силу, они сообразили, что падают. Разжались объятья, но прежде чем почувствовать смертный ужас и убитья, каждый успел понять: их падение случилось прежде.

Вся немудрящая жизнь мгновенно пронеслась в памяти у котов от начала до конца, затем смерть помирила врагов.

* * *

Очухавшись от полученного леща, Харлам не обнаружил друзей и поспешил по лестнице вниз. Увидав их распластанные фигуры, он приблизился к погибшим. Ничто теперь не напоминало их прежних черт, два бессмысленных предмета и все.

Глядя на их подавленные тела, он понял, что никогда уж больше не пошутит и не сострит во всю остальную жизнь. Теперь он стал взрослым, суровым котом, и никто не признал бы в нем прежнего весельчака.

Похоронив друзей в кустах бузины под забором, Харлам не торопясь поднялся на крышу, к тому злополучному окну. Багровый закат отражался в нем.

Одним коротким ударом он вышиб раму, опрокинул зазевавшуюся кошку и спокойно, не суетясь, овладел кокеткой на глазах остолбеневшей хозяйки. Его уверенные действия парализовали их волю, и Харлам сумел довести дело до конца.

Истина открылась ему сразу же вслед за облегчением, во всей своей неприглядности. Он узнал себе настоящую цену.

Тут же он навсегда, без сожаления покинул проклятое место.

* * *

Солнце палило совсем по-летнему. Вокруг сиротливо горбились пыльные, облупленные кровли, торчали кирпичные дымоходы, служащие пьедесталами неподвижным, вронам. Провожаемый их равнодушными взглядами, кот Харлам торопко двигался в сторону своего дома, к преж-

**РЕКОРДНЫЙ ПРЫЖОК
ИЗ ПОД САМЫХ НОЖЕЙ
В ФОРТОЧКУ.**



ТЕРЕНТИЙ ОХОТИЛСЯ НА ГОЛУБЕЙ

прощаясь, по разным сторонам крыши, тяжело размышляя о торном пути к счастью.

Однако не прошло и часу, как все оказались в сборе, на том же месте у заветного окна, но каждый прибыл со своим отдельным интересом.

Первым начал выступать остряк Харлам. Он принялся подличать, веселя красотку шутками над друзьями: то прищепит Прохору хвост, отчего тот нелепо подскочит; то Терентию, который к форточке нацелился, подножку подстроит, — роняет их в глазах жюри, а свое значение на их счет выпячивает.

Кошка, по женскому обыкновению, веселилась от души и строила за это Харламу глазки чаще других. Тот принимал ее знаки и собирался продолжать свою роль, но тогда Прохор, хоть и добрый был, отвесил приятелю такого леща, что тот отлетел на время в сторону, очистив место для развертывания настоящей трагедии.

Воздух разом сгустился, заребрилось и вздыбилось железо крыш, электрические искры просыпались с проводов.

Дикий Терентий, руководимый вековым инстинктом, миглом оценил убавку числа противников и, ошестинившись клочками шерсти, с жутким отрывистым шипеньем ринулся на Прохора. Застигнутый врасплох Прохор потерял сразу много очков, но благодаря природной силе быстро оправился, вернул преимущество и продолжал дальше успешно тузить противника. Тот самоотверженно оборонялся и даже удвоил усилия. Прохор не уступил. Полетела выдранная шерсть, литаврами загремело ржавое железо под ударами опрокидываемых тел. Дрались молча, как и положено мужчинам.

Кошка довольно урчала, дожидаясь победителя и увлеченно следя за поединком.

Настал роковой момент, когда бойцы, будто любя, сцепились намертво и одним клубком покатались к краю крыши...

ним хозяевам, чтоб, наваявшись у них в ногах и вымолив прощение, подвергнуться затем той спасительной (от бесчестья) операции, которую предлагали ему люди в свое время, со свойственной им мудростью и умением все знать наперед.

ПОДРОСТОК

I

Пионерское лето простерло над лагерем нагруженные листвою ветви. Сквозь них виднеется лазоревое небо, сообщающее лазоревость раскинувшемуся внизу озеру, полному тучной рыбы.

Лагерь ли пророс березняк, или березняк пророс через пионерский лагерь, — знает это лишь один человек — Сидор Сидорович Исидоров, ведь он старожил, помнит каждое лето в подробностях, будто вчера.

Окрестная природа и посейчас не скупится на урожай ягод и грибов, на клев рыбы. Лагерная жизнь замечательна изобилием футбольных и волейбольных состязаний, военных игр и танцевальных вечеров. Пионерские мероприятия идут своим привычным чередом. Так что время летит стрелой.

Вот и музрук теперь не так молод, наоборот, постарел, и пальцы его уж не стремглав берут аккорды и не сходу выбирают мотив, перебегая по стертым пуговицам баяна.

Главное дело — нет у Сидора Сидоровича того чувства, что он необходим людям (взрослым и детям), хотя со своей стороны он старается, перенимает с радио и передач самые частисполняемые мелодии, тщится поспеть за модой, и, наконец, он получает ставку...

Но не слушают его пионеры и их вожатые, предпочитая чужую, неведомую, нетранслируемую музыку, которая почему-то сильнее трогает их расцветающие души, чем выбранные Исидоровым образцы. Сидор относит это явление на счет глетворного влияния империализма. Недаром же дети приходят к нему на занятие не петь, но зевать и валять дурака в самых лирических, прочувствованных местах исидоровской игры. На уме у них одно баловство.

В результате опускаются у Сидора руки, и он, где бы повышать виртуозность, все чаще допускает промашки, и что греха таить, позабывает части произведений.

И наболевший вопрос наружности все не решить конкретно. Только что вот приотпустил Сидор волосья на вершок по кругу, решил, чтоб не отстать от русла, ан юноши назло ему посбривали виски и затылки, подняли на дыбки ежи цветных чубов. Обидно.

II

Каждое лето едет Сидор Сидорович от родного завода в лагерь, оставляя дома семейство, и всякий раз в голове его, сотрясаемой ходом электрички, роятся мечты.

О чем же мечтается самодеятельному музыканту, артисту, пальцы которого столько натоптали мелодических тропок на кнопках баяна, являющего и скрывающего на своих мехах таинственные орнаменты?

Читатель, загляни в свою душу или хоть в том классической литературы, и ты не осудишь Исидорова: он мечтает о Любви. И вовсе не разумеется, что о любви кого-нибудь из обслуживающего персонала.

Нет, он мечтает о любви юной девы, из тех, что случаются порой между пионеров старшего возраста.

И если б спросили его: «Сидор, скажи, что тебе нужно от девочки?» — он бы затруднился сказать. Или если бы спросили его затем: «Ты платонической любви ищешь, Сидор?» — то опять бы он затруднился ответить, и даже себе самому.

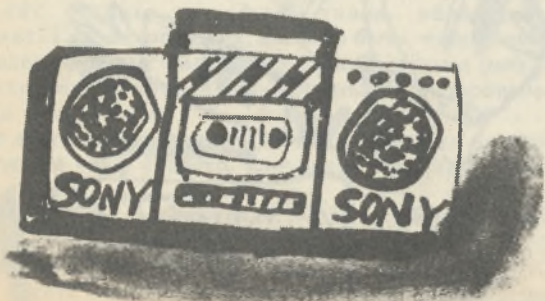
Исидоров Сидор Сидорович имеет совесть и моральные устои. Правда, со времен первой молодости он таки подвергал их ревизии, вынужден был, но твердо можно утвер-



ОНИ СООБРАЗИЛИ, ЧТО ПАДАЮТ.



«ПОДРОСТОК»





ждать — имеет! Да и мечтает он про себя, молча, сохраняя на лице строгую видимость.

Так вот: музрук все не мог забыть той быстро пролетевшей поры, когда его баян и талант собирали вокруг целую толпу публики. Дощатый клуб выгибался от наплыва жаждущих танцевальных переживаний, пол возбуждающе дрожал, туманились стекла. Молодые люди в отпаренных костюмах и начищенной гуталином обуви увлеченно танцевали разученную загодя «Падеспань», аплодировали, краснея, просили объявить «дамское танго».

Стоило Сидору эффектно отставленным локтем лихо раздвинуть свои таинственные меха и взять аккорд, как множество юных глаз загоралось в его адрес мечтой о свидании. Отыграв программу, Сидор назначал свидания по своему выбору, приходил на них, брал свое и сразу спешил назначить новые, с другими возлюбленными. Он трудился как шмель, гоняя с цветка на цветок и прилежно опыляя каждый.

Но время шло. Развивалась музыкальная техника, и вот — бац! — появились в изобилии радиолы, а еще попозже — хлоп! — и готово дело, — колонки с усилителями и микрофоны с электрическими гитаристами.

Юность запросила резких звуков. Число свиданий пошло на убыль, и характер их переменялся. Прежде всегда, бывало, просили его поиграть, а он кобенился, теперь, напротив, не просил никто и даже не давали, называя мурой новинки репертуара и классические интерпретации. О «Падеспани» не было и речи.

Настала мрачная пора. Иссидорова принимали только на пионерские песни и гимны, которыми не навеять лирических грез. Свиданий никто уж не хотел, и немудрено — Сидор без живого творчества сильно сдал наружностью. Волос его несомненно поредел и посивел, лицо обвисло, взгляд обрюзг. Упругость и подвижность членов случалась не всегда. Самое время, момент для степенной позиции созерцателя, благоразумно помнящего о грядущем, к кото-

рому несет нас река жизни, будто на блюде в окружении приправ. Грядущее же — разверстая пасть.

Но на беду пылкое сердце музрука совершенно осталось как было прежде и даже сделалось лучше, не обремененное случайными связями. Любви просило оно!

И музрук напропалую влюблялся. Если бы пришло ему в голову припомнить детство, то он заметил бы, что в ту пору, когда будущее простиралось необозримыми отдалениями, влюблялся он таким же образом, ища в любви того же просветленного одушевления для целеустремления повседневности.

Замкнулась, стало быть, связь времен, пошел новый виток, и Сидор устремился по нему, не задумываясь о недалеком грядущем, а полагаясь лишь на голос сердца, который звучит в нас из далека, большего, чем век.

Влюблялся музрук в самых красивых девочек-пионерок, если такие оказывались в лагере, всякий раз на всю смену вперяя в них свое непреклонное око, надеясь, что накопленные за жизнь качества его личности произведут свое действие и он будет еще вознагражден достижением своей сокровенной цели.

В это лето одна из путевок досталась такой пионерке, которая могла бы присниться во сне в виде ангела, так она была хороша. Действительность тут превосходила любую, самую изощренную фантазию, так что бедняга с первого же взгляда втрескался в нее в полный рост, наповал.

Невероятно? Передовая медицинская наука все, конечно, может прояснить и изгладить впечатление, но мы не станем посылать за ней, а обратимся к окружающей жизни, полной натуральных явлений, и убедимся вполне, что описанное распространенный факт.

III

Волна пионерской демократии моментально вынесла девочку в председатели совета дружины, поэтому двоекратно





в день становилась она на линейке перед всем лагерем рапортовать звонким голосом и принимать доклады. У всех было неоспоримое основание не сводить с нее глаз, за что и голосовали все мальчишки единогласно.

Имя ей было Соня Невзгляд. Сидор как услышал его, так обмер, и сердце его застучало в груди набатным боем: «Удача!» — и по членам побежали веселые пульсы, и грядущее приотдвинулось за горизонт. Он вовек не придумал бы лучшего имени.

Соня не уклонялась от музыкальных занятий. Охотно отвечала на вопросы музрука, серьезно задавала свои, внимательно выслушивала ответы. Такого не было давно, тем более от такого ангела. Мелодии и запевы, что играл Исидоров, она старательно разучивала и после выводила своим ангельским голосом, внимая орнаментам мехов. Соня всегда была в отглаженном галстуке и при значке, а когда входила даже в совершенно пустую пионерскую (Сидор подглядел утайкой), отдавала салют дружинному знамени.

А как она распекала нерадивых сверстников, пламенея щеками, не зная ничего (так полагал музрук) о своих узеньких бедрах, тончайшей талии, яблочных грудях и глазах! Глазах, похожих, должно быть, на иллюминаторы подводной лодки с видом на морские цветы и рыб. Равных им не создавала природа в обозримый Исидоровым период жизни человечества.

Тот факт, что не одни лишь глаза заметил артист, автор относит на свою совесть, допуская, что Сидор был скромнее.

Сильное чувство охватило Исидорова. Оно владело им безраздельно круглые сутки. Музрук едва успевал поесть и поспать для поддержания своих преклонных сил. Себя он стал видеть ее воображаемыми глазами, имея в виду наружность и поведение. Осанка его распрямилась, добрав

упругости. Лицо прояснилось. Взгляд очистился. Казалось, каждое движение и жест его исполнены изящества и многозначительного смысла. Сама персона Сидора в его отраженном взгляде приобрела масштаб киногероя.

Исидоров опять помолодел.

Открывая по утрам свои мешковатые глаза и видя узорные тени дерев на потолке от встающего солнца, музрук сразу начинал чувствовать, как бьется его молодое сердце, радующееся предстоящему дню.

Вот и сегодня будет радость. Он увидит ее, и не раз!

Во-первых, на утренней зарядке, где Сидору положено играть для ритма. Во-вторых, на линейке. Тут Исидоров исполняет туши при вручении вымпелов. И, само собой, на музыкальных занятиях, где они обычно оказываются в наибольшей близости и Сидор может подпустить что-нибудь из излюбленной лирики.

А после ужина будет еще «пионерский огонек» по поводу встречи с соседним лагерем, в сопровождении танцев.

День предстоял праздничный. Тени на потолке радостно шевелились, выписывали письма, суля Сидору чувства. Он тянул к ним руки, и те покрывались пятнышками и полосками, еще пуше веселя артиста. Хотелось скакать козлом.

IV

Однако «человек предполагает, а господь располагает», как говорят еще порой в иных местах нашего обширного отечества, несмотря на атеизм.

Зарядку сорвал внезапно набежавший дождь, который впопыхах прокуролесил вплоть до завтрака, сведя на нет попытки провести линейку. На музыкальных занятиях Соня тоже не оказалось — отвлек выпуск стенгазеты-молнии. Суеверный музрук готов был решить, что складывается цепочка неудач, но оставался еще «огонек»...

И он приветливо вспыхнул. В прибранную столовую запустили подростков из обоих лагерей, и те, чинно усевшись за накрытые чаем столы, принялись озирать друг друга. Мальчики интересовались физическими достижениями гостей, девочки — модностью нарядов.

Затем последовала обоюдная художественная самодеятельность. Самодеятельность изрядно развлекала Сидора. Тут были и итальянские песни, исполненные тремя девочками, и стихи поэтов из школьной программы, немудреные фокусы.

Выступила и Соня... с акробатическим этюдом. Этюд произвел впечатление. Все подростки поразевали рты, у Сидора же отнялись ноги и пресеклось дыхание, так что он чуть было не отдал концы вперед достижения цели. Крепкий табурет удержал его от падения, а стакан чаю прочистил дыхательный путь.

Сидор пришел в себя, но остался на дне души ядовитый осадок от того, что все, кто хотел, любовались его, Сидора, достоянием. Будь только его воля, он запретил бы эти этюды.

Взамен следующего по порядку номера откуда ни возьмись вывернулся понукаемый дружками черноволосый подросток (из тех, кому не жаль пообрывать руки-ноги) и имел наглость спеть хулиганское...

То есть сперва он отказался от сидоровского сопровождения грубым высокомерным жестом, затем, ни у кого не спрося, выудил себе инструмент — гитару, оклеенную портретами красавиц и исчириканными надписями; принял вызывающую позу, оттопырил подбородок и, не беря совсем аккордов, заорал внезапно крепкой глоткой такое, чего опытный музрук не смог отнести ни к одному музыкальному жанру.

Инструмент негодяя в местах, свободных от красоток (обнаженных в том числе), имел следующие надписи: «МИТЬКИ», «АССА», «Е-Е», «ВЕСЕЛИСЬ, НАЧАЛЬНИК» и буква «А» с кружком сверху. (Сидору доводилось видеть такую на заборах и стене туалета.) Также имелась надпись «АЛИСА КУПЕР».

Что это были за знаки? Какой, чьей цивилизации? Такое

могло уродиться только посреди мусорных баков в проходных или задних дворах для развития молодежного бандитизма и наркомании.

Исидоров знал все современное искусство, следил за ходом культуры и по мере сил поддерживал ее зная. Он испытывал прилив настоящего негодования и тошноты.

Пел же мерзавец ни больше ни меньше как: «Мы будем делать все, что мы захотим! Пока вы не угробили весь этот мир!» И вдобавок: «Мы хотим танцевать!» То есть чего и следовало ждать.

«Это ли не бандитизм? Это ли не наркомания?» — стучало в голове музрука. Он решительно привстал, чтобы прекратить хулиганство...

Но внезапно весь «огонек» разразился аплодисментами. И, что самое скверное, первая, сияя своими подводными глазами, захлопала, заплескала в ладоши Соня Невзгляд. Лицо ее выражало счастье. Она даже специальным образом наклоняла голову, чтоб свободнее шло это выражение.

Никогда Исидоров не видал такого лица в свой адрес. Нет! Никогда!

Горе усадило его на место. Судьба вновь обнесла его своей милостью, назначив ее другому.

Черномазый же продолжал гнуть свое и спел еще, что он, видите ли, «объявляет свой дом безъядерной зоной!» Гад какой!

У Исидорова еще оставался шанс — танцы. Аппаратура лагеря, по своей мелкомасштабности, все равно не имел, и музрук совсем уж расчехлил баян... Но тут произошла заминка.

Проклятый гитарист заявил вдруг, что у них с собой сюрприз, и выволок небольших размеров штукину японского изобретения со стереозвуком непостижимого уму качества и мощи.

Сидоровский баян, несмотря на весь разворот мехов, медленно захлебнулся бы, захлестнутый волной этого звука, вздумай музрук тягаться с заграничным приспособлением. Очевидно, в нем заключался черт! Грязный, лохматый, со свинским голосом.

Разом вспыхнули одушевленными все пионерские лица. Опять не его, Сидора, таланту назначена была вспышка, а этому черт знает чему.

Как только японский диверсант рявкнул свой свинский напев, так дети, забыв о руководителях «огонька», вожатых и воспитателях, сорвались с мест, потесняя тех к стенкам, и захватили инициативу. Пришлось уступить напору. Сами собой сдвинулись столы с заводским печеньем, и пошло, завертелось такое, к чему нельзя было быть готовым, как нельзя приглотиться к попаданию под трамвай.

Девочки пока отошли на второй план, в середине же двинулись мальчишки-пионеры! Первым пошел, делая движения несколько как бы цыганистые, чертов певец, враг номер 1, с которого Соня теперь не сводила глаз, иногда только оглядываясь на всех, чтобы все разглядели ее восторг. Один взгляд достался Сидору, и он его тут же взлеял.

Хулиган двигался цыганом, и вдруг с ним произошла перемена. Не сбиваясь с музыкального такта, он задвигал всеми участками и частями тела порознь. Эти не зависимые друг от друга движения, весьма энергичные, не прекратились и тогда, когда он брякнулся оземь, не чтоб обернуться ясным соколом, а для продолжения своих конвульсий. Могло показаться, что он болен, но, во-первых, все хлопали и не выключали музыки, а во-вторых, подите-ка так подвигайтесь! Получатся ли у вас такие же кренделя ногами в воздухе и скачки на лопатках? Нет, не получатся, или получатся, но другие. Так можно делать, имея очень натренированные члены и не имея солей в позвоночнике. У Сидора же, напротив, солей имелось достаточно, а о членах уже было сказано. Ему стало больно.

Тем временем к первому подростку присоединился второй, влезший сперва на стол, а уж оттуда, с верхотуры, сверзившийся прямо в пол, как будто это был бассейн, и тоже принявшийся вертеться волчком на повернутой нарочно шее, без причинения себе вреда.

Еще двое последовали их примеру. Девочки начали дви-

гать собой в лад мальчишкам, являя пример бесстыдства.

«Вот тебе и танцы! Ай да детки подросли!» — затравленно озирался музрук, с ужасом видя, что и Соня приняла участие в безобразии, отчасти, правда, придав гадким движениям некую прелесть и тем как бы что-то в них прояснив. Впрочем, все равно ужасно! Гадко! Танцующие глядели совершенными болванами, и Сидор без конца поминал черта в адрес японцев и всей Америки.

Горечь переполнила его до отказа. Он приподнял зад от табурета, чтоб уйти гордо с этого, с позволения сказать, «огонька», уходом своим дать им всем понять...

Но бесовский танец вдруг оборвался, и зазвучала вполне пристойная лирическая мелодия, сразу задевшая натянутые нервы артиста и опять усидившая его на место.

Старшая вожатая, желая овладеть ситуацией, подала наконец голос, объявив, что «приглашают девочки».

И тут Исидорову вдруг показалось... нет, ему, честно говоря, просто очень захотелось, так что все равно как показалось, что вот сейчас Соня, которая пела же под его баян, глядя ему в самое лицо, в самую гущу сердца, видела же его глаза — вышедшую наружу душу! — не могла, стало быть, не знать в свои четырнадцать лет о его любви, вот сейчас она пригласит его на танец, и он обнимет ее тончайшую, восхитительнейшую... своей бывалой рукой и ощутит то, чего, конечно, не могут ни понять, ни оценить ее сверстники. Это будет путь к ее сердцу. Она почувствует и узнает его, и тогда, может быть...

А нужно заметить, пока не поздно, что Сидор еще был не так уж дурен собой. Перечисленные недостатки в глаза совсем не бросались. Автор готов признать, что в запале перегнул палку обличения Сидора. Приняв же во внимание многолетнюю его бывалость, да и талант артиста, можно вполне его успех на пионерской вечеринке допустить, тем более что девочка могла пригласить его в другом каком-нибудь пионерско-воспитательском смысле. Так что музрук хоть и возмечтал, но не вовсе оторвался от земли. Но вышло другое. Вышла скверная штука.

V

Сидор захотел своего с такой непреклонной силой, что вспотел и перестал дышать. Сердце его стучало вхолостую по грудной клетке, пальцы корежили табуретный край. Это напряжение не могло пройти так себе.

В следующий момент взгляду Исидорова, устремленному для маскировки несколько вбок от возлюбленной, предстала гадкая баба.

Баба была омерзительно стара, в грязной юбке и припущенных чулках. Горящие ее глаза пьяно косили. Сидор, знавший примерно состав персонала, такой же помнил. Неясно поэтому, чьей злой волей предстала она на виду всех (вот именно всех, потому что все разом обратили внимание на бабу и Сидора). Может быть, ее занесло с кухни? Возможно.

Факт, что она стала против Сидора Сидоровича и, припав на одну ногу, принялась отводить по сторонам толстые руки, хихикать и еще приседать, полагая, видно, что делает реверанс. Стало ясно, что музрука зовут на танец. То есть он избранник этой незнакомки.

Кто-то отчетливо хмыкнул, веселые выраженья лиц заструились от одного к другому; вроде как и музыка замерла.

Баба все приседала, должно быть в сороковой раз, с одним выражением, нечистый ее подол однообразно колебался.

В груди Исидорова родилось изумление и принялось расти. Будь он менее развит или не имей совсем таланта, он легко отступился бы и вышел из положения. В конце концов, сплясал бы.

Но Сидор был внутренне развит, и рост его изумления подкреплялся разными, толпой набегавшими соображениями (черт бы с ними, так нет же!). Например, в голове его сверкнула ослепительная мысль, что он, Сидор, сам и есть эта старуха!

Изумление распирало несчастного артиста все больше, с особенной силой налегая в слабых местах, чтобы преодолеть пределы артистической оболочки и заполнить все окрест.

Исидоров лихорадочно старался припомнить черты своей наружности (совсем не дурной) и решить, что нет, не он эта старуха. Просто так себе, случайная баба, пьяная...

Но нет. Нет! Сидор будто увидал уставленный в него неоспоримый перст: — Ты! Ты и есть эта баба!

Всхрапнув, музрук сорвался с табурета и бросился к выходу, с трудом преодолевая бесконечные пространства столовой, которые загибались навстречу ему, чтоб опрокинуть, не дать уйти. Сидор сжимал в руках стонущую голову, баян свисал с плеча и бил его в крестец, подгоняя.

— Наш Сидор Сидорович, видно, вспомнил что-то, — решила вслух Соня.

— Утюг выключить, — довольно плоско сострил гитарист. И опять все задвигалось на этом празднике, закружилось себе, позабыв о ненужном влюбленном руководителе. Баба же удалилась в прежнее неизвестное место.

В своей комнате Сидор осмотрелся и понял, что смотреть ни на что не стоит, все отвратительно и в гадком беспорядке. Казалось, каждый из предметов следит за ним насмешливым ироническим взглядом, даже сор ухмыляется из углов.

Исидоров озлобленно схватил веник и истратил на это все силы, поняв тут же, что мести не сможет; двинулся было к тумбочке поискать там яду или намыленного шнура, но не смог выбрать направление, натываясь на стены и предметы, которые отталкивали его от себя, не опуская к цели. Сидор, в досаде, изумленно озираясь, мечась меж них, вдруг боковым зрением узнал в зеркале эти движения. Точно! Это был тот самый омерзительный танец, что танцевали дети и Соня. Вот и он затанцевал его. Веселись, Сидор! Плещи! И в пол башкой брякнись, чтоб уж не встать...

Но неведомый спиной тычок выпихнул его вон, на волю...

Вид живой природы в момент поздних сумерек открылся ему и остановил его. Остановил в широком смысле, можно сказать так: оглушил.

Изумление и горе прекратили свой рост, замерли пока, как были...

Природа предстала пред Исидоровым всей своей непостижимой громадностью, освещенная своими же боковыми лучами, полилась в его ноздри благоуханием лепестков и трав.

Рыжее солнце уже приготовилось сесть за деревья, подоткнув малиновый подол. Красная дорога от него шла напрямик к озеру. Фиолетовые тени пролегли от синеворанжевых стволов. Изумрудная, чуть не голубая трава выказывала огненные цветки. Отдаления не знали пределов.

Сам творец явился Сидору своим рукодельем напомнить музруку его место и смысл его значения.

Сидор заторопился увидеть явление. Он раскрыл шире глаза и распахнул раненую душу навстречу чуду. Благодать полилась в него. Впечатление от недавнего события как-то сжалось, сцепилось в комок и укатилось и закатилось в дальний, наполненный туманом овраг.

И когда солнце, сплющившись, село, оставляя призрачный, разлетающийся в стороны свет и жар от горящих верхушек сосен, когда комары довольно плотно облепили шею артиста, Сидор, только что не преклонив колен, утихомирился. Мало того, в сердце у него зазвучала музыка. Вернее, он услышал ее сердцем.

Музыка, видно с незапамятных пор жившая тут, возле ветхой, ушедшей в землю лавки, зазвучала еще слышнее, напоминая музруку об оставленной семье, той, давней любви и еще целой веренице вечеров, когда он был счастлив.

Сидор рванул меха баяна и, разом найдя нужный напев, из прежних, лучших времен, взмолился творцу, выкладывая весь свой талант напоказ, возвращая его:

Не тверди, для чего я смотрю на тебя,

И зачем и за что полюбил я тебя,

В твоих чудных глазах утопил сердце я,

И до гроба любить буду только тебя!

Не могу не любить, знаю, страшно страдать,

Так уж, видно, судьба тебя, друг мой, узнать.

Окончив песню и еще постояв над озером, Исидоров поспешил в райцентр на круглосуточный переговорный пункт.

Он поспешил, семена и сбиваясь на бег трусой, бежа грядущего, желая поскорей дозвониться жене, чтоб узнать ее голос и что она скучает там о нем и ждет его. А он сознается во всем, в любви до гроба.

Протяжно пел ему вдогонку горн. В спальнях неохотно укладывались пионеры, поминутно затевая возню, перебрасываясь печеньем и дешевым хлебом, переживая самое длинное время жизни и не замечая красоты вечера и своей вечной юности.

Ленинград, 1986 г.



ПРОКЛЯТЫЙ ГИТАРИСТ



ЮРИС КУННОС

СЛЕНГ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

* * *

особо просто в тех районах не обиталось
где легко потерять с утра в обед к вечеру ночью
что задуманы видимо ангелами ибо с воздуха так хороши
спичечные коробки а в них экономии ради
спички щепят пополам еще пополам
и углы насаждений зеленых облизаны как леденец
где зарождаются смерчи достигая твердости гранитного
стержня
где надцатые этажи переглядываются между собой с
расстояния метров так 115
Голая Пустошь с шахтами и арматурой
зализывает скрытые раны после воскресного дня
компания чаек и голубей отмечаются на рубцеватом
асфальте
Межциемс Плявниеки Золитуде и т. д.
так легко проследить все водоносные жилки здесь под
землей
и стереомагнитофоны что на улицу р-раз и под луною
танцы
клетки лестничные фольклорных граффити полны как лес
где тоже бывает плутаешь
что бы стоило каждому дому дать персональное имя
у каждого склада раньше было такое у каждой аптеки
эмблему выбить на крайней стене например огурец
жаворонка или отвертку
или же взять один дом и назвать его Себеж второй
Бигосово
а третий пусть будет Ранка иль Джуксте
или хоть ангела какого ни на есть вытатуировать
живут одинаково смертные вместе похоже одетые
в трудах каждодневных радостях огорчениях с цветами
кино
заложники малых и крупных форм общественной
архитектуры
один наш знакомый имел неплохой ориентир
телефонную будку у парадных дверей
во тьме добираясь до дому всегда узнавал пока
тинэйджеры не перекантовали ту будку подъездом
дальше
что обернулось почти уголовным делом
за влажнение в чужую постель

* * *

Горькая улица
от моста-балалайки к Вагнеровскому саду
от флага на башне замка Святого Духа с Божьей помощью
до улицы Упес где железнодорожная ветка помесь
госпиталя и
пересыльной тюрьмы с деревцами диаметром 80 см
Горькая улица стойбище серых дежурных «Волг» и
голубеньких воротничков
набухают кожаные портмоне и заводятся красные
фиолетовые зеленые желтые
ехали на кабриолете блок-флейта виола банджо
кинозвезда Патриция Глотатели дыма Калики Перехожие
мимо школ в коих обучались когда-то мимо домов в коих
обитали когда-то довольно впрочем эпизодически
где групповушки зданий от Академии до общаги
напоминают OPART вдоль
Пентагона без тормозов
а из окон мезонина глянешь на овощной магазин
грейпфруты разбавляют сладкую жизнь
дыни горькую подслащивают немного
Горькая улица с крепостью пивоварен и горечью хмеля
обещан был непосредственный пивопровод абонентам
ближайших квартир
вечно спешащим гражданам с медными краниками
и шлангами почти
что в рот нагоняющий шампанские пузыри коктейль из
запахов
конфетной фабрики
Горькая улица шумы Ганзы мешающая с вонью улицы
Стабу
Горькая улица спасающая дома от выбросов таксомоторов
etc. с Красной Двины особенно после дождя
когда маслянистый асфальт как зеркало
одна из дорог по которой рижане прорываются в рай
«Кришьянис 1»
и «Максим»-∞ Горькая улица

* * *

искал улицу Розена самую узкую в Риге
 ее подвалы затоплены засыпанные хочу облазить при свете
 фонаря как расстаться с утопией о государстве
 соединенных
 баров подземной сети где неделю позволено будет
 без просыпу
 глушить с детьми подземелья
 искал улицу Девственниц самую короткую в Риге
 со стороны Малой (что характерно) Монетной улицы
 глухую улицу Девственниц с выходом через милицию
 гиды не знают о ней одна пожилая дамочка даже
 обиделась
 путеводителей нет и планов а сержант так и не понял лишь
 руку четко к фуражке решил приложить
 на Барахольной улице споткнулся о старый чайник паянный
 восемь
 раз ветерана Парижской выставки жестяных изделий
 попал к кроту
 за подкладку спасибо спасли
 да на Амбарной улице инструменты из цеха каменщиков
 плющили меня
 мордой об стену я вспомнил ту песенку о распродаже
 инвентаря
 в связи с наступлением войн и кариатиды корчились
 рядом
 и лилии отцвели
 оазис этого города археологический парадиз
 где на городище ливском Розен-домовладелец сам себе
 кажется
 Руозеном круглее звучит
 но сержант так и не понял лишь руку четко к фуражке
 решил приложить молдаванин или азербайджанец он
 знает только
 «Алигате» и «Саперави» и «Агдам»

* * *

один резерват в центре города все-таки сохранился
 там цветы и гречиха растут и пчелы собирают взятку
 там вздымают ковали молот и храму ворота куют с
 с чугунными листьями колокол
 и юнгфрау Эрнестине золотое колечко

один резерват в центре города неизвестно как сохранился
 там Смильгис театр играет там подручные катят бочонки с
 рынка
 там органы режут в тени деревьев там в песке купаются
 воробьи
 и дурацкая башня шарится на месяц с крылечка

один резерват в центре города пока еще сохранился
 там разбить палаточный лагерь там запрячь рысаков в
 кареты
 править в Вентспилс Ауце Лиелаю через неделю вернуться
 и с волком-гонцом восточных царям отправить сердечко

* * *

мой стих пролез под сосною-оборотнем
 и кинулся драть июльских ягнят с пастбищ улицы Авоту
 ревущих чудищ Матвеевской улицы не испугался
 воду лакал на углу от ржавчины рыжую
 изредка подвывая как современный поэт
 заморские тряпки швырнул туда же к корням
 вкус крови отдать не хотел за запах пота и пластание
 между корнями
 пропал во сне что снился мне нахохлившемуся как цуцки
 дышащему легкого легче

* * *

если давно не случалось в Курземе быть
 в переулках Задвинья поймай переключку шарманщиков
 водопад на улице Ивандес и звон у Речного устья
 едва лишь клин журавлей под тем же углом
 проспиртованный воздух нюхнул за Брамбергес над
 бывшею монополюшкой
 и чтоб пожарные на каланче у Шампетра дудели и били в
 бубны
 на площади Рысаков мотор закричал закашлял
 по улице Апузес откуда автобус бывало на Ручаву к озеру
 Папес
 когда с плантаций тюльпанов восстанет Ева словно из чрева
 матери
 покажет точно стрелка часов где стопроцентного
 видземца Ояра
 Вацетиса встретить
 в имени Кандавской улочки метит рак широкой клешней
 золотую рыбку
 патримониальный округ Риги платит налоги
 за то что давно не случалось в Курземе быть
 да кто ж мешает

* * *

после очередной театральной премьеры
 аплодисментов цветов вина и елея
 мы оказались в подвальчике-мастерской
 насквозь пропитанной казеиновым клеем
 было чем полакомиться взгляду
 иконы вперемежку с ню и порно
 модели на шпильках разносили кофе
 подрагивая ресницами и покачивая бедрами
 мы рассуждали о том как заработать деньги
 на некоей улице восстановить церковку
 посасывая разбавленное импортным тоником
 молочко от бешеной коровки
 одна из икон уставясь на нас
 выражала неодобрение очень бурно
 прохожие деловито сплевывали в водосток
 в порядке очереди минуя урны
 дух святой оказался крепок
 и мастер выплескивал скипидар в окно
 мы каждую каплю пили за предков
 в тот раз нам не было больше дано

* * *

из театра где все непрочно как в жизни
 домой не тянула святая водица
 звезды вставлявшие лужам клизмы
 нас подначивали порезвиться
 повстречали извозчика дрыхшего сообразно натуре
 чей след кареты терялся в дюнах
 когда он спросил «а есть ли купюры»
 ответили «не хлебом единым»
 «да но и хлебчик я бы не хаял
 коль пояс туго как эти вожжи»
 ответили «это штука лихая
 если хочешь у нас есть дрожжи»
 словно от порции рома иль валерьянки
 засверкал у возчика кошачий глаз
 «н-но красotka прыг-скок и в дамки»
 жаль что вас не было с нами в тот раз

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО



утоляя жажду горячего летнего зноя
утоляя тоску по пыльным степным колодцам
если не можешь довольствоваться парною
очень часто случается проколоться
потому что бабочки-самоубийцы (а также осы)
давно отлетали свое; откосили косы
а луг, на котором цвели венки из ромашек
стал серым могильником червей, мотыльков и пташек
и души умерших трав, людей и деревьев
поднимаются в небо и землю в полете бреют
облетают родной поселок и, зная, даже
оседают порой на трубах, как пыль и сажа

Все мое прошлое: уйди-уйди.
Все мое прошлое: китаец-прачка
бельем на снег. Завернута собачка,
Замки закрыты. Никого не жди.

И никого не будет, ей-же-ей.
Бутылка пива, скользко, не упасть бы.
Все мое прошлое — одни напасти
у волка в пасти — для чего же ей?

Все мое прошлое лицом на снег.
Хоть было раз: она сбежала в сени,
в кленовый двор (кончалось воскресенье)
и все бежит...



цыганские домики
чертово отродье
ходят голодные
гадают на пальцах
чему я учился
где мои угоды
чем поить скотину
Господи, сжался

что ж это: ямы
рельсы да рельсы
все твои храмы
стоят за лесом

2 СЕНТЯБРЯ 1989 ГОДА

в Европе на башнях пробил -надцать часов
и их петухи получают аккордный подряд
я тоже могу разбирать на сарае засов
и даже потрогать цепочку но это навряд

давно на воротах Европы написано «нет
ни входа ни выхода» всем кто умеет читать
ты можешь работать всю жизнь на обратный билет
прямую плацкарту получают тебе не чета

полвека назад мы ушли бы с тобой на войну
где кто-то простой и суровый потребовал: жди
меня я вернусь я с победой вернусь
а нынче у нас не осталось за что уходить

за сорок копеек в пельменной мы купим тепла
(ах вот почему так никто не хотел умирать)
от съеденной пищи уже голова тяжела
на серые камни подошвы несет протирать

и ты ли удачник ли я ли дешевый поэт
но призрачной дымкою все же навек пленены
и я и они для чего же нам пишется «нет»
когда ни солдат ни снарядов ни слез ни войны



* * *
И я, как Рогожин, в горячке из страшного Пскова
По первому снегу бежал на голодную Русь.
С подарком под мышкой, в кафтанчике чуда морского,
В холодном вагоне с соседями «парень, не трус!»

За лен и пеньку, новгородское пряное сало,
За сладкий покой в лопухах — сохрани и спаси —
Я отдал бы славу, что наши знамена спасала,
Венец и корону люблю: захочешь — проси.

Судили, рядили, меняли коней на заставах,
Делили сестер и именья, держали пари.
Я вышел из поезда. Дым заворачивал вправо,
А я поднимался налево и думал: «Смотри!»

Худая рука очертила костяшками пальцев
Скупую черту, подперевшую шею врагу.
Сыны Пугачевщины грели затекшие пальцы,
Готовые вздернуть любого на первом снегу.

* * *
облепили привет огуречному саду
«добрый вечер» опилок теплу парника
с голубиною нежностью ветось рассады
поправляет заботливо чья-то рука

это так — остаются и шляпы с опушкой
и платки, и тулупы, но все ерунда
только прядь, как трава, от виска до макушки
только дым поутру, только в окнах слюда



* * *
Ключам не давайте свободы и воли отмычкам.
Не бойтесь застывших щеколд на любом этаже.
Но рюмочку лампы меняя на колышек спички,
Казенный линолеум остерегайтесь прожечь.
Иначе, продав первородство кускам силумина
И жести с бородками дав полномочья врача,
Мы все захлебнемся горячей струею кармина,
Текущей в замочные скважины к нам по ночам.



ТРИ КАРТЫ

когда я ноги протяну
и спрячусь в ящик за Двину
не все уместится в «ку-ку»
хотя бы «Слово о полку»
толкуйте «Слово о полку»
мне — во спасенье — дураку

+
пускай живут пугливые столицы
иронией — восторженной синицей
а нам она навязла на зубах
у нас в шкафу не золушкино платье
а злая совесть нищета и братья
и ненависть — высокая судьба

+
туда откуда ветер дует
мы едем в Юрмалу пустую
и этот город молью трачен
в нем во дворах соседи плачут
на крышах мокрый рубероид
они болеют геморроем
и тянутся на километры
баракы трахнутые ветром

МАСТЕР И МАРГАРИТА

огонь горит и в пламени свечи
я вижу лишь протянутую руку
я слишком груб и вся твоя наука
меня уже не может научить
убить звезду влюбленных разлучить
зажечь вражду наслать на город скуку
и бедствия ах боже мой врачи
вот дурачок целуй скорее руку
в душистую перчатку поцелуй
сквозь тонкий шов тепло дрожащей ткани
и всё темней и голос всё упрямей
вот я тебя вожжами не балуй
а ветер в ухо шепчет горячо
и галстук мне забросил на плечо



ГРИГОРИЙ КАПЕЛЯН

СТУП ЛЬПУСАНСКИЙ

«Скончался Ступ Льпусанский» — стояло в приглашительном билете, выпавшем вместе с бутербродом маслом вниз из сумки моего знакомого фотографа, вхожего в дома дипломатов. В своей профессии он еще не достиг требуемого уровня и в этих домах чаще всего употреблялся в качестве штатива (у моего знакомого было три ноги).

В своей потрепанной, задубелой и перекореженной сумке из прорезиненного брезента он таскал все, что могло пригодиться ему в его переметной жизни. Визитные карточки были сложены в мыльницу, которая, судя по слизи на дне, служила также и по своему прямому назначению. В сумке он носил и провизию, на случай (довольно частый), что его не покормят в тех многочисленных домах, куда он наведывался. Там же находились разнообразные предметы мелко-бытового или квазихудожественного порядка, которые он надеялся между прочим кому-нибудь продать, реже — подарить, а иногда где-нибудь якобы случайно забыть, чтобы иметь повод заявиться туда еще раз. Кроме сомнительно антикварной металлической посуды и подсвечников, дверных ручек (в виде дельфина, например) тут были и различные бездействующие, из-за отсутствия в продаже надлежащих батарей, приборы — такие, как некогда ярко раскрашенная, а теперь облупившаяся палочка в форме полицейской дубинки, являвшаяся не чем иным, как прибором для определения скорости ветра в закрытых помещениях.

Встретились мы не то в кино, не то в бане — сейчас не припомню, позднее я действительно побывал в кинозале, устроенном, очевидно, в бывшей парной, о чем речь будет ниже.

Собственно, не в том дело, что это было за помещение. Помню, что все было как бы на бегу: он много раз расстегивал свою сумку, борясь с замками, пряжками и молниями, встречивал содержимое, выпаливал свежие новости, в основном те же, которыми он с тем же энтузиазмом делился со мной пару недель тому назад, демонстрировал какое-то устройство, интерес к которому у него пропадал еще до того, как он успевал сообщить мне о его назначении.

«Скончался Ступ Льпусанский», — снова прочел я на замызганном приглашительном билете, догадываясь, что речь идет о главе какого-то государства, втершегося где-нибудь между Сиккимом и Бутаном, и, опасаясь спровоцировать новый словесный фонтан из уст моего знакомого фотографа, я воздержался от вопросов. Да и не было нужды вопрошать, он и без того, увидев упавший на пол билет, начал:

— Ты не знаешь об этом? Как же ты не знаешь об

этом! Я его видел пару раз, по-моему, у Дризла. У Дризла? Э... Неважно. Он был тут инкогнито. Не Дризл, Ступ. Прямо так и сказал: я тут инког-ни-то. И никто не знал, что это он. Да и Дризл-то сам тоже не знал. Или делал вид. Говорят: «А вот и наш инкогнито, пожалте нате!» И делал вид, и Ступ тоже делал вид, что не знает, кто он такой. В какой-то момент он, то есть Ступ, кажется, даже сам признался, что он забыл, кто он такой. Может, так оно и было, ведь бывает же, хочешь сделать вид, что забыл что-то, глядишь, а и на самом деле забыл, где ты находишься. Да и с тобой такое тоже бывало — да брось, не маши, бывало, бывало! А ему-то немудрено — ведь он в первый раз в жизни был в гражданском платье. Ты же помнишь, что сообщается о ступах в «Демоногических традициях» промежуточных этноидальных образований? Ты разве не знаешь этого труда? Да это же классика! Ты даже не знаешь, что такое этноидальные образования и чем они отличаются от простых этноидов? Ну, неважно. Факт тот, что по традиции ступ должен носить, не снимая, сбрую и гиппофакс с двумя пэ: гиппофакс. Он в нем обязан даже спать. Сбрую сбросить можно — жевать препятствует, но гиппофакс — ни-ни! Куча драгоценностей, — говорят, специально плохо вправленных, чтоб сыпались с головы во время процессов. Естественно, если заметят, что кто-то подобрал, назначают семь ударов палкой по шее. Тому, кто подобрал. И тому, кто заметил. Так что, бывает, и перепадает чего. Ну, в общем, видел я его: простой парень, росточка небольшого, никто не знал, что это он. Ест руками, а все ведь знали, что у них там в Льпусане полагается ногами есть. Видать, ради инкогнито пришлось нарушить обычай. Подавали тогда эти, ну как они называются, эти национальные, шары, которые полагается глотать целиком, чтобы потом они лопались в животе через четверть часа. Стоит какой-то глухой грохот по всей гостиной, а когда много народу, то что-то жуткое: бу-бух, бу-бух! Страшное дело, после кофе с коньяком, когда все разбредаются по углам, ковыряют в зубах или смотрят картины на стенах, начинается такая пальба! Но все как ни в чем не бывало — дипломаты! — спокойно продолжают беседу, ни тени улыбки, будто это за окном там что-то делается, мостовую чинят. Неопытному трудно удержаться от смеха, так и подпирает, а тут еще в животе такое ощущение легкости и освобождения, прямо-таки полет, переход матерьяльного в духовное прямо у тебя в животе, этакая легкая тошнота, невесомость, этакая высокая игра кишечника — ну, ни на что не похоже.

Помещение, в котором мы тогда находились, было дей-

ствительно чем-то вроде предбанника, но перед чем — убей бог, не помню. Какие-то полки и шкафчики, покрашенные восемнадцатым и уже пожелтевшим слоем масляных белил. Дверцы невозможно закрыть. Он (фотограф) меня потом еще чуть ли не силой таскал по городу, обещая куда-то в конце концов привести, но на каждом шагу он то встречал кого-то, то обнаруживал, что здесь по пути еще есть место, куда надо на секунду забежать.

Каких только квартир нет на этом свете, да еще из посещаемых моим знакомым фотографом! Круг его знакомств охватывал, наверное, все слои населения, поскольку везде нуждаются в фотографиях, металлической посуде, в определении скорости ветра, в карманных кофейниках на полпедсоны, в сломанных тросточках с фонариком на нижнем конце для освещения той точки земного шара, куда упирается эта тросточка, наконец, в новостях, которые с тем большим интересом выслушиваются, чем сильнее они напоминают слышанные ранее. Ведь такие новости — не новости, а благовести о том, что в мире ничего не меняется. А раз уж общепризнано, что раньше было лучше, чем теперь, то такие новости всегда хорошие, даже когда они плохие.

Я несколько раз пытался сбежать от моего знакомого и говорил, что у меня болит голова (и она, не желая лгать, и на самом деле заболела), но его ничем нельзя было прогнать. Он мертвой хваткой вцеплялся мне в локоть и тащил дальше.

— Подожди! — вдруг останавливался он посреди лестницы, когда мы поднимались к кому-то. — Надо промочить глотку.

Он с грохотом вытащил из сумки длинную темную бутылку (естественно, выпачканную чем-то клейким и с прилипшими к этому чему-то крошкам белого хлеба) и подал мне. Меня остановил не только безобразный вид посуды, но и надпись на этикетке: *haxative whiskey* — стояло там крупно, а вслед за этим перечислялись превосходные качества продукта, вплоть до способности его избавлять потребителя от *rangs of conscience*.

— Слушай, так это что же, жидкая английская соль? . . .

— Не обращай внимания на этикетку. Там водка налита. Дуй давай.

Я знал, что сопротивляться бесполезно, так что пришлось мне приложиться к горлышку и проглотить несколько капель отвратительной теплой сивухи, сделав вид при этом, что я выпил больше.

Он вылакал весь остаток и после этого сразу обмяк и будто даже забыл, что мы к кому-то идем. Присев на подоконник, он достал из кармана выгнутую дугой сморщенную сигарету и закурил, икнув перед этим.

— Ну вот что, — сказал он, — к Боссе мы не пойдем. То есть мне, по известным, хе-хе, кое-кому известным причинам, мне чихать, конечно, но если старуха думает, что я ради чего-то, так лучше не давать ей карты в руки . . . Сделай ты мне одолжение, а? Просто зайди к ней и передай этот пригласительный билет.

— Этот, с мылом, который скончался?

— Ну да, ну да. Прямо с мылом, без мыла она никак . . . — он снова икнул. — Мне там появляться, так она подумает, что я чего хочу. Но раз мы же уже здесь, тут один марш вверх, так ты передай, будь так добр, а мне, — совсем забыл, — надо бежать. В четыре встреча у Луппольдов. Знаешь, мне предложили там позировать. У меня, видишь ли, цвет лица точно такой, как у них стенки выкрашены. Это очень важно. Художник будет писать портрет хозяйки, а цвет лица будет брать с меня. Для колорита. Это так обычно и делается. Я сижу рядом с хозяйкой, а он это . . . пишет . . . маслом . . . вниз.

На этом он стал засыпать.

— Эй! — растолкал я его. — Без десяти четыре. Тебе уже к стенке пора!

Сраженный внезапной усталостью, он поднялся с трудом: моментальный сон переместил его в какое-то другое измерение, и он вдруг взглянул мне прямо в глаза с таким собачьим проникновением, что мне его стало по-человечески жаль. Я, можно сказать, испытал острую жа-

лость к тому существу, которое, вместе с пробуждением моего знакомого, проснулось в нем. Он медленно собрал свой мешок и пошел вниз. Не оборачиваясь, он попрощался со мной безнадежным взмахом руки и вышел на улицу. Я выглянул в окно и увидел, что он стоит, словно высматривая что-то и совсем не торопясь занять свое место рядом с хозяйкой странно покрашенной стены. Потом он внезапно рванул наперерез толпе, валившей по грязному тротуару, нацелившись на очень рослого человека в необыкновенно высокой каракулевой шапке. «Ступ Льпусанский», — подумал я почти с полной уверенностью, но тут же вспомнил, что он скончался. А впрочем, чего только не бывает в демонологии обыденной жизни! Быть может, он скончался там, в своем Льпусане, только для того, чтоб вот так спокойно разгуливать здесь по грязному тротуару. Остановив незнакомца, фотограф опять стал бороться со своей сумкой. Наконец оттуда был извлечен какой-то крохотный предмет. Высокий взял это в руки и стал рассматривать, выслушивая объяснения. Потом мой знакомый выхватил предмет из его рук и стал этот предмет яростно встраивать. Очевидно, он добился какого-то результата — лицо его просияло, он даже разразился смехом. Человек в каракулевой шапке невозмутимо взял предмет и принялся рассматривать его на свет, как бы испытывая его прозрачность, а потом положил в карман. Фотограф взял каракулевого человека под руку, и они медленно пошли, при этом мой знакомый продолжал смеяться и показывать руками какие-то сравнительные степени.

Я поднялся этажом выше и увидел дверь, обитую лоскутным одеялом. На медной дощечке было выгравировано хвостатой прописью: «Завалевская-Боссе». Сразу вслед за мной звонком в глубине квартиры раздался грохот падающих металлических предметов и отодвигаемой тяжелой мебели, затем топот и шарканье, лязг замков и цепей, и, наконец, открылась щель, из которой высунулась голова старухи: лицо ее было вымазано чем-то белым, и к этому белому были прилеплены кружочки огурцов и моркови. Когда она открыла рот, я увидел выставку зубопротезного искусства: там были не только золотые и серебряные, но также и яшмовые, базальтовые и лабрадорские коронки. Я объяснил причину моего прихода, и она, взяв меня за локоть, повела в глубь квартиры.

— Вы меня простите за мой вид, — начала она, сбрасывая с лица огурцы, — я думала, это Пунечка, он всегда в это время. Пунечка бывший муж второй жены моего первого мужа. Он мне как брат, хотя во внуки годится. Такой милый старичок! Ну . . . — она вздохнула. — Что вам показать? . . .

По-видимому, одно то, что я к ней явился, сразу причислило меня к тому сорту людей, которые к ней являются. Спротивляться было бесполезно, старуха не давала мне рта раскрыть, показывая какой-то антиквариат, родственный по стилю предметам, находившим временное пристанище в сумке моего знакомого фотографа. Потом она затащила меня на кухню и стала угощать кофе из чудовишной машины, издававшей нерегулярные одушевленные харкающие звуки.

Спросив меня, не работаю ли я «в развозке», и не пожелаю услышать какой-либо ответ, она стала рассуждать о преимуществах и недостатках этой работы.

Я плохо слушал ее, да и ей, как видно, важнее было говорить, чем следить за эффектом своей речи. Мое внимание было приковано к полке, где стоял заварной чайник. Обычный по форме — такие раньше подавали в трактирах, — он был, однако, первым в моей жизни чайником, сделанным из такого материала: он был выточен из кремне-розового мрамора с ветчинными прожилками: из этого камня в свое время делались массивные чернильные приборы, им же и тогда же любили облицовывать стены мясных магазинов.

«Да-а, брат . . . » — подумал я, вспоминая ту пору своей жизни, когда, лежа в больнице, я читал что давали, а именно журналы с обложками в тонах сепии, на которых фотографические группы людей были пройдены крепкой

кистью ретушера высшей квалификации. Я вспомнил не сходящие с первых страниц триумфальные сообщения об успехе застрявших на несколько лет в глубокой пещере ученых, которые, питаясь сталактитами, как шашлыком, вышли оттуда сияющими и обновленными; или же об открытии некоего, теперь уже хорошо забытого селекционера, которому удалось вывести породу голых, или, как тогда писали, «бесперьевых», кур. «Бесперьевая 2» красовалась на обложке иллюстрированного журнала, окруженная радостными зрителями из далеких земель — все они, естественно, в национальных костюмах. Обступив стол, на котором стояла курица (или петух?), индейцы, попы и папуасы дивились на это гладко отретушированное (без пупырышек) существо. Преимущества бесперьевого птицеводства были разительны: полностью исчезла операция общипывания, которая в те времена не поддавалась механизации. Высвободившиеся рабочие руки были переброшены на набивку подушек, в которых как раз тогда ощущался острый дефицит.

— Помните ли вы бесперьевую курицу? — спросил я, продолжая глядеть на чайник. Я не отваживался подойти поближе и рассмотреть это камнерезное изделие, боясь подтверждения моей догадки, что чайник, наверно, не полый, а представляет собой монолитный камень.

— Конечно, конечно! — воскликнула она с неожиданной готовностью и сильным ударением на «е». — Я его знала. О, это-то был замечательный мужчина. Он мог! — она произносила «мох», — уж он-то мох. Уж кто-кто, а он мох как никто. Это-то был ба-альшой интеллигент! Когда Элеонора Брэм, так-кая еще молодая, пела «Жажду лобзаний», он н-нес-сомневался принимал это на свой счет! О-он мох... А как он заступался за своих! Он ведь был вхож всюду и мох уговорить самого Варсонофия Ардальонича. Вот, к примеру, когда — ну вы должны помнить, — во время знаменитой кампании по выявлению жестоковейных интровертов, он немало спас ученых, писателей, коллег-лекторов. Как же, помню. Я и сейчас поражаюсь, как удалось ему самому уцелеть, когда его уличили — уличили! — в том, что он вывел породу яблони, на которой сразу вырастали огрызки. Помню, обличительный снимок в газете: дерево, а на нем объедки, то есть огрызки... А в предыдущей кампании, когда выявляли беспардонных экстравертов, он тоже уцелел. Мало что сам уцелел, он еще и спас, — тут она назвала имя известного писателя. — и спас-то как: сначала сам на него донос написал, а потом явился куда следует и сказал: доверьте это мне, я его исправлю, я ему привью что надо, он у меня зацветет новыми плодами. Или клубнями, не помню. Так и сказал: зацветет плодами. Или клубнями, я не помню точно. И, представьте, ему доверили. А кстати, вы не читали последний роман?..

— «Пациент Мертвого?» — спросил я. — Нет, я как-то не успел...

— Ну разве не прелесть? Ну разве не шедевр? Суметь написать 666 страниц о человеке, проспавшем 82 года! По существу, с главным героем ничего не происходит. Но какое захватывающе-е чтение!

«Питание вводили *per anus*. Исправно испражнялся *per anus*», — подумал я.

— А что же все-таки там происходит?

— Ну как же, как же? Неужели вы не читали? Видно и видно, что не читали, что ж вы говорите, что читали?

— Да я не...

— Такое столкновение страстей, характеров! Знаете ли, научных страстей с научными страстями, научных страстей с научными характерами, житейских с научными и житейских с житейскими. Понимаете ли, главный герой непрерывно спит. Он спит уже 82 года. Проходят годы. Вот уже проходит 82 года... Автор переворачивает огромные пласты человеческих судеб. Это-то захватывающе-е.

— И в конце он... это... просыпается?

— Кто? Ах, этот-то, пациент-то? Вот тут, понимаете ли, очень тонко. О-о-чень тонко автор дает понять. Вернее, он не дает. Он оставляет своего читателя, то есть не читателя, а своего героя, как бы на грани пробуждения. Чита-

тель заинтригован, проспится, то есть проснется, а? Но все же конец жизнеутверждающий. Читаешь и веришь — проснется! Пройдут годы, может быть, десятилетия, и он проснется... И в этом, понимаете, символический намек!

Тут старуха снова взяла в руки намыленный пригласительный билет и прочла, уже во второй раз:

— Скончался Ступ Лъпусанский. Да-да-а... Все мы не вечны. Годы уходят. А молодой был! Как-кой мужчина! Помню, в газете. Дети подносят ему змею. Жаль. От сумы да от тюрьмы, от великого до смешного... Да-а-а... Вы знаете, сегодня никак не смогу. У меня сеанс... — тут она выговорила какое-то слово из области не то косметики, не то демонологии, и я почел нескромным переспросить: «Сеанс чего?» Помню только, что слово по звучанию было чем-то средним между каталепсией и плейстоценом.

— Возьмите, ради бога, этот билет. Сходите сам, я никак не могу.

— Может быть, ваш брат, то есть внук...

— Нет, нет, он будет со мной, он будет мне помогать, — ответила она патетически. — Я вас умоляю, пойдите. Там будет очень интересный сеанс («Опять сеанс, — подумал я, — у нее сплошные сеансы»), вы сделаете знакомства. Поминальный ужин, экзотические продукты, где вы их в магазине найдете?

Я ушел. Сеанс чего? Впрочем, почему бы и не плейстоценом? Ей-богу, хорошо было бы вдохнуть воздух, скажем, юрского периода. Уж куда как легче дышится. Особенно после триасового. Затем следовал, кажется, меловой. Ну, там не стоило задерживаться. Пыльный период. Потом — грязный период. И, наконец, скверный период. Мерзкий и гадкий.

Предпочту, пожалуй, юрский. Азбучная фауна. А — аммониты. Б — белемниты. Окаменелые слова: ростр, фрагмакон, протракум.

Просторы бескрайны. Небо дышит воздухом.

Я забылся. На секунду оказался там, где небо дышало воздухом, где то, чем дышат, было небом, начинавшимся прямо у ног.

Оно обнимало белые камни и зеленые первичные побеги, и молчание моллюски лежали в тихом сне, обласканы им.

Какое отсутствие! Меня не было там, там не было «я», бедное воображение, оторвавшись от моего существа, отлетело в одинокую самостоятельную прогулку, в нагую и босую вечность, которой и хватало только на один глоток воздуха небес.

— Скончался Ступ Лъпусанский. С его смертью многие из вас, возможно, впервые услышали о Лъпусане, — говорил выступавший перед сеансом представитель этого государства. — Страна наша велика и обширна, богата природой, людьми, животными, растениями, архитектурой и песнями. Ее пересекает великая река Хаммут. На ее берегах расположены храмы и плантации забытых растений. Раз в год мы празднуем День Отрешения, и хор пловцов в Великой реке поет Гимн Возрождения и Одновременного Растворения в Вечных Водах Первичной Субстанции, то есть «Неразгаданной, но Очевидно Наличествующей Первопричины», — так примерно переводится название гимна, звучащее на нашем языке как одно односложное слово.

Человек, говоривший это, был маленького роста, одет в европейское платье, по-видимому, только что купленное в близлежащем магазине поношенного детского платья. Худое лицо оливкового цвета обнаруживало все особенности строения черепа, вдававок верхняя губа была высоко отвернута над деснами, как занавес, который уже начали поднимать, чтобы показать весь череп, уже без покровов; тонкие руки с непомерно широкими ладонями были вывернуты навстречу зрителям. Он стоял как наглядное пособие по этнографии, френологии и хиромантии, но в непроницаемости его взгляда была еще и уверенность, что он может служить экспонатом и многих других мудростей, недоступных, да и не нужных этой толпе, которой

хватит и банальной диковинности пришельца из отдаленных мест, ускользнувших от цепкого взгляда поколений картографов.

Сеанс был устроен в помещении бывшей парной. Полок, зиккуратом поднимавшийся к потолку, оказался удачным сооружением для кинозала. На отсыревшей стене со следами выломанной печи висела свежестырянная, но неглаженная хлопчатобумажная простыня. Она висела на двух толстых гвоздях.

Пленка была плохого качества, копия была, видно, истерта многочисленными показами. Да и сама съемка производилась на каком-то непонятном материале: нельзя было с определенностью назвать этот фильм черно-белым, но и цвета там не было. Вначале на экране появилась не то эмблема киностудии, не то герб Лъпусана: это было мутноватое изображение давно не стриженной овцы на высоких ногах. Над овцой мерцала толстая, расплывчатая звезда (трудно было понять, сколько у нее концов, можно было гадать между четырьмя и семью). Включился звук, и донеслось глухое хоровое пение. Мелодии было не разобрать. Было похоже на фонограмму, пущенную вспясть: шумные вздохи, прерываемые внезапными глотательными движениями. Панорама реки была снята как будто в предгрозовое время. Небо было набрякшим над вздувшейся водой и черными холмами по берегам, где не росло ничего, — как видно, земля тысячелетиями вытаптывалась паломниками.

Медленно разворачивался круг земли, застроенной обитаемыми зданиями. Невозможно было угадать их назначение: усыпальницы ли это, культовые ли это сооружения, смотровые или водонапорные башни, зернохранилища, обсерватории, склады, тюрьмы или маяки? Ни то, ни другое, ни третье. Как будто, заранее обреченные быть непригодными для какого бы то ни было использования, они демонстрировали одну лишь безрадостную тщету строителей, громоздивших эти памятники вялой зодческой инерции, первотолчком которой была какая-то никому не ясная, забытая потребность соорудить...

И когда камера приближалась к одному из этих памятников, отчего-то становилось понятно, что сооружения эти не имеют вовсе никакого внутреннего пространства, никаких помещений, ни даже пустот, что они сплошь, во весь свой объем заполнены кладкой.

Это были здания, по горла своих башен сытые кладкой. То ли обьевавшиеся, то ли фаршированные кирпичом и известью. Дома, обитаемые самими собой.

Русло полноводной реки делало плавный полукруг. Река несла с собой плодородную охру для отдаленных засеянных полей (не показанных в фильме), где обмотанные мокрыми серыми тряпками люди взращивали урожай священного растения, служившего пищей, топливом, строительным материалом и кормом для скота; дававшего волокно для пряжи и цветы для процессий; из этого растения делали благовония, лекарства и яды; под сень, сплетенную из его побегов, ставили новоборачных, в корзинах из его прутьев баюкали или сплавляли вниз по реке младенцев, а на циновках из его лыка укладывали покойников.

Воды реки были тяжелы и избыточны. Река была беременна водой. Она была мутна, исполнена минеральной и витальной материи и в водах своих чревата потопом и будущей новой жизнью.

В тяжких глиняных волнах, вздымавшихся, как груди исполинского левиафана, плывут сотни атлетов. Это и есть хор, слышимый как будто из глубин самой реки. Движения пловцов медлительны, но легки. В голосах же их — изнеможение под тяжестью несомой ими мелодии. Это глухие согласованные стоны, усталые стенания, угрожающий плач беспросветной тоски по другой, древней и утраченной песне, той, о которой поется в этом погребальном гимне возрождающей жизни.

Свет стал меркнуть, и кадры запрыгали. Проектор остановился с зубным клецаньем. Наступила полная темнота. Неслышно, с зажженной свечой, огромной своей ладонью прикрыв ее пламя отсутствующего в закрытом помещении ветра, вошел оливковый представитель. — Нам пре-

кратили подачу тока, — сказал он без тени сожаления. — Впрочем, уважаемые гости, в оставшейся части фильма, как сейчас в этом зале, царит тьма. Побудем же во тьме, подобной той, в которую погрузился Ступ, и молчанием почти его память.

Он задул свечу, и минуты две в зале держалась тишина. Сразу стало душно, как будто до сих пор проектор служил еще и вентилятором. Шепот, кашель, шарканье и шуршанье возрастали, и народ, спотыкаясь и сталкиваясь, стал сползать с полка.

При выходе я оказался лицом к лицу со своим знакомым фотографом.

— Как сеанс? — спросил я его.

— Сеанс чего?

— Ну, этого, у стенки.

— А, ерунда вышла. Я опоздал на 48 минут, и из-за этого у меня были красные пятна на лице. Или из-за чего другого — неважно. Я ж не виноват, что у меня красные пятна. Все равно у художника дрожали руки. Хозяйка аж побелела от злости. Так что я оттуда прямо сюда. Успел только к концу. По дороге забежал в Черную Дыру выпить рюмку. Там встретил этого, ну... профессора, или кто он там такой, кавказская фамилия... черт, вылетело из головы... А, вот, вспомнил — Бестиаров, Бестиаров! Разговорились о разных предметах. Я теперь больше по демонологии ударяю, а он свое, насчет ксеномантии...

— А это еще что за штука?

— Да как тебе сказать, я и сам толком не знаю — не то чтоб гадание или метод установления косвенных связей между безотносительностями, в общем, хрен знает. Его, понимаешь, из-за этого не пускают за границу и вообще не разрешают общаться с иностранцами. Из-за того, что он занят такой наукой. Или он занят такой наукой из-за того, что ему не разрешают. Ему говорят, что вам, дескать, прямые контакты вредны для пользы дела. Действительно, есть резон, а? Раз он занимается нематериальными контактами. Очень даже резонно. Так вот. Он нажил себе этим делом такой комплекс, что стал посылать свои сперматозоиды на станцию искусственного оплодотворения доктора Дольчефико. И ничего! Совершенное бесплодие. Он ругается, кричит: противозачаточный занавес! А теперь он пришел к такому выводу, что за границы вообще не существует, что все это фикция, искусственно внушаемая иностранцами и фиктивными новостями якобы из-за рубежа, которые фабрикуются тут на месте. Это будет тема его будущей работы. Он говорит, что нечего и думать, что здесь издадут, придется опять-таки пересылать это за бугор. Ну, а как тебе Лъпусан?

— Как тебе сказать, я...

— Да чуть все это. Тем более в свете будущей работы Бестиарова. Это ж все коллаж. И архитектура, и этот представитель подозрительный. Все химеры. Мне покойный Ступ сам говорил. Нет у него никакой страны и не было. Он сказал так... подожди, дай вспомнить...

Он обхватил лоб ладонью и медленно процитировал: — Действительность реальности удостоверяется самой реальностью. Но это положение опровергается им самим. Ведь никто не может быть свидетелем, а тем более судьей в собственном деле. То есть, кто она такая, реальность, чтоб судить о самой себе? Остроумно, а?

Тут на плечо моего знакомого опустилась чья-то рука, и он в испуге обернулся. За его спиной стоял человек в высокой каракулевой шапке.

— Нэ савсэм так, — сказал он с кавказским акцентом, — пемо Testis, пемо iudex in causa sua. Но есть судия! — он помолчал и, погрозив пальцем кому-то, повторил: — Есть судия!

Было ли это отвлеченным высказыванием или незнакомец угрожал фотографу судом, я так и не узнал.

Они отделились от меня и, как в прошлый раз, под руку пошли по улице. Человек в высокой шапке крепко держал моего знакомого под локоть, и нельзя было понять, какого рода беседа происходила между ними: склонившись над ухом фотографа, незнакомец то ли проповедовал, то ли увещевал, то ли торговался, то ли угрожал расправой.

НИКОЛАЙ КОНОНОВ

* * *

Жанна д'Арк в мучительно-мучнистой узкой капсуле со сложенными
Ручками на груди, с крылышками — бабочка, вот ты
Возле лампочки сгорела... Где полки твои победные,
умноженные
Трубами ночными? Конники, пасущиеся стада пехоты?
В белых латах, в бело-розовых, но с грозовой каймой
угрожающей...
О, в каком кино, в учебнике, остриженную жутко,
Посреди толпы бурлящей, крупно напиральной...
Обгоришь, сомлеешь вмиг, задохнешься раньше, в
полминутки.

Ты летунья робкая, ты в комнату случайно, невзначай
запущена,
Девочка-капустница, ночница. К легкой смерти льнули
Многие, но, Боже мой, через валки они пропущены,
Смяты запросто. Тебе жизнь лишь задули...

Бабочка! Ты ручки хвойные, все шесть, скрестила перед
выпуклыми
Дикими очами, ты пощады молишь, ты продрогла.
Видел хронику, как Маяковского хоронили — все качали,
выкупали
Люлечку сосновую в толпе крутой, бурлили долго.

Все везли ее по улице, и билось низко знамя остывающее,
Багровеющее скудно; только б, только б не густой,
холодной
Смерть была — к земле походной, мерзлой, пригибающей,
Пламенной, огнистой, смерзшейся, бесплотной...

* * *

О как бы я хотел, как бы я хотел аспекты легкого
недомогания
Нежно так в Институте лечебной физкультуры
На кафедре лени изучать. Милая моя тема, бокастая
мания —
Народнохозяйственная дрема опорно-двигательной
арматуры.

Ах, и за выяснение гносеологических корней насморка
У Ницше я бы взялся: поклевывал из корытца науки
О, немного совсем, чуть-чуть. Ведь правда, не насмарку вся
Жизнь моя пошла? Немного мела сумрачного, комочек
муки...

Сердце мое, кто ты? Ондатра у ручья рыжеющая или
мельничная
Напудренная мышка? Мне тело теплое на празднике
досталось.
Еще опека чудится такая вкрадчивая, мелочная...
По вечерам что нежит нас? Усталость.

И ласточку в стихи не заманить — надежды сверстницу,
Свистунью. Гнездо ее слезится под карнизом,
Так жалко лепится, слюной сладчайшею за чушь, за
околесицу
Цепляется, смотри! О, век пернатый, трепетом пронизан.

Не отлежаться желтым эмбрионом мне, желтком,
живучей каплей сумрака,
Брусничкой где-нибудь в глуши. Как зелень дышит хмуро.
Цветное зренье в тягость мне, и охра гаснут с умброй так
Непоправимо, муторно, понуро...

* * *

Хорошо как, хорошо как, Господи, как славно по талонам
профсоюзным
Фудзияму оснеженную салатика птичьей вилкой ковырять!
Здравствуй, милая калмычка желтоокая, в глазунье стильной
узнанная,
Фрикаделька, легонькой кибиточкой сгнувшая без
поводыря.

Вот и вы в кипящих Фермопилах совершенно обнаженные,
сгрудившись, погибли.
Дюжие сардельки храбрые, родственников за собою цепью
потянув.
Кто ответ обязан дать вам строгий? Я копеечкой не
плавился в военном тигле,
В домике легчайшем не дрожал я, как инакомыслящий
Нуф-Нуф.

Отчего же мелочью паскудной под смешки и анекдоты нас
всех выкинули?
Тесно-тесно, двушка нежная, к трюльнику потертой
циферкой прижмись.

О, в объятье этом строгом, в поцелуе этом
целокупно-пристальном,
В теплой очереди беззастенчиво тихо так проходит жизнь.

Я еще подумал с ужасом: разве хватит на год смешливых
и улыбчивых
Сил пугливых? Наковаленка души умолкшая, где твои
«дин-дон»?
Впереди сержант-стройбатовец заматерелый с новенькими
лычками,
Тянется к изюминке плавучей, что-то шепчет ей такое на
наречии родном.

Если честно присмотреться — так ничего ведь: ни высокого,
ни низкого
Вовсе в жизни нет. Лишь мотивчик птичий неотвязный так
прирос
К легкой скрипочке сознания — тренькает себе он над
тарелками и мисками.
О, без смеха выдержать как это все? Без смеха выдержать,
без слез...

НОВОБРАНЦЫ В МЕТРО

Почему на север шлют этих щенят нахохлившихся,
Бритых бухарских цыплят в неокуклившихся шинелях?
Дети еще ведь — оторвались насилу от кори и коклюша...
Где, где родные небеса вечерние с полосочкой кошенили?

Ночной сквозняк и дикий поезд, поезд догоняющий...
Кто видел тень, которой жизнью встречен
Сопляк стройбатовец, сластена замерзающий
Под люстрами метро погонами отмечен.

Как будто дни мои, вот так легко скользнув, отчалили
От теплой Бухары, но можно ль быть нежнее,
Слова перебирать в смятении, отчаянье,
Угрюмей, ласковой и жарче и южнее.

В казарме чистота, шеренгой низенькой набычились
Чужие тумбочки щемящие. Ты кто? Тростник солоноватый.
Под общий ляжешь серп, когда рукой забывчивой
Брал поручень сползающий, покатый.

Так кто теперь твои завязтые попутчики?
Кто ближе всех? Не пуговицы разве, не штанины,
Не рукава зеленые? И чья рука так плотно нахлобучила
Чумную шапочку, легко, непоправимо...

* * *

Ирина Родионовна у какого-то козла в 49 автобусе на
коленях

Пьяной ласточкой сидела и смеялась хрипло . . .
Ну, о чем тебе, пернатая, мечталось? О котлетах, о
сардельках, о пельменях.

В 46 ты втюрилась по уши, под завязку влипла.

Знаю-знаю, сердце твое швейною машинкой застучало,
одуревшей шпулькой
Взор метался, за иголочкой скабресной шов бежал.
Ты кипи-кипи, говядина родная, шевелись себе,
побулькивай,
Чтоб рассольник обнимающе-слюнявый час от часу
крепчал.

Тихо красила мордашку, войлочные, обесцвеченные,
мнущиеся кудри
Мелкою драла гребенкой. Гиблых чувств зажаренный
лучок.
Сумерки проходят тихо за окном в легкой второсортной
пудре.
На колени к ним садилась, как ямщик на облучок.

Отчего так пошло, пакостно? Разве так, скажи, Юдифь
угрюмая приходит
К Олоферну под дождливую горячую военную трубу?
Стайка флейт соседских понимающе посвистывала и
покашливала вроде,
Гильзою губной помады не попасть вам в нижнюю губу.

Вот кочан, его бери, лохматый, и кудрей капуста
мелконашинкованная.
Как легко нести — не весит, о! не весит ничего . . .
Мелкой линией зачеркнута, ты тушью залита, сеткой
заштрихована,
Бесполезным брошена, бессмысленным, напрасным
рычагом.



В ПРИЕМНОМ ПУНКТЕ КОМИССИОННОГО МАГАЗИНА

Не люблю раннюю темноту с катарактой наледи, полную
глаукому
Угрюмого неба — и не всхлипнуть ему за окном, не
прозреть.
За интеллигентно-серое папино пальто, что по такому, по
такому
Блату достали, в комиссионке прежней цены дают лишь
треть.

Ах, оказывается, по всем скрытым ранкам, язвочкам,
ушибам
Тяжкого драпа так больно взглядом скользить.
Речка рукава обмелела, загнула как-то крылышком
индошива,
Флажком розоватым. Ну, не надо. Не вздрогнуть телом, ни
рукой пошевелить.

Нет, не сжиться с этим чувством мне: с замирающим,
бессильным, бледным . . .

Открутить пытаешься зачем-то пуговицу, тянешься к
другой.
С тактовиком зеленеющим, нежным дольником,
лагоэдом
Как холодно жить стало — и звезды ни одной.

Залоснилась тихая поникшим рукавом, нелепой лишней
складкой
Стала смерть. Ну, теперь об этом больше слова не скажу.
О, не флейтой снегириной, не павлиньей дудочкой, не
сладкой,
Замирающей жалейкой . . . Только пчел гуденье дикое
жжу-у-у . . .

* * *

Распрекрасные ботинки, расчудесные легчайшие
ботиночки,
Невесомые, нежнейшие, поскрипывающие так по-птичьи,
Пара пенок с шнуровкою пернатой, пара уточек любовно
вынянченных,
Тихо крикают самозабвенно, ну почти что не курлычут.

Ах вы, птички, — говорю, — непуганые, поглядывающие
столь придиричиво . . .
Если б я обул вас — стал бы флейтою свистеть, гудеть
валторной.
Как мне нравится двойная грядка этих музыкальных
дырочек,
И шнурок, связующий, как нота, пробегающий сквозь них
проворно.

Но на ценник лучше не гляди, кооператоршу не
переспрашивай . . .
Я их как весну люблю — вполне экзистенциально.
В подсознание у меня есть комнатка с такой неряшливой
Обстановкой, вся захламленная, до окон вещами
заваленная.

Мне пять дней всего лишь что-нибудь определенно хочется:
Авторучку с золотым пером, католичество принять,
электрическую дрель с насадкой.
И в Италию, что сердцу солгала, смотаться, но уже
полощется
Все это в реке забвения за дымкой шаткой.

Даже выпить, даже выпить, Боже мой . . . и закурить. И
ужасающая
Тихая понурая душа белеет слабым эмбрионом.
Скуксилась, скукожилась родная ссадина моя
незаживающая . . .
С этим звуком мне не совладать, с этой нотой, с этим
обертонном.

Рижский Видеоцентр Фонда культуры Латвии совместно с Бюро мультимедиа при министерстве иностранных дел Франции выпустил русский вариант мультимедиа «Ледокол» («Brise-Glace»), созданного французским философом и эссеистом Паскалем Эммануэлем Гале. Выпуск производится с разрешения и с участием самого автора.

В комплекте: видеокассета (90 мин.) с тремя фильмами, авторы которых — три очень разных режиссера с миро-

вым именем: Жан Руш, Раул Руис и Титэ Тернрота — дают каждый свою визуальную версию путешествия во льдах; компакт-кассета (60 мин.) с музыкой и монтажом записей документального звука (Варианты Давида Жиса и Лика Феррари — последний в 1987 г. был награжден Prix Italia); книга «Белый пейзаж» с богатой подборкой текстового и иллюстративного материала (фотографии Каталины Волшанской). Текст параллельно на русском и французском языках. Перевод И. Хмельницкой. Редактор У. Крас-тиньш.

Фото АНДРЕЯ ГРАНТСА



ИНТЕРВЬЮ КРИСТИНЫ СНИЕДЗЕ С ПАСКАЛЕМ ЭММАНУЭЛЕМ ГАЛЕ

— Как бы Вы хотели представиться?

— Меня создали литература и философия, которые я короткое время преподавал. И к концу этих занятий начал работать критиком передач на французском ТВ. Затем меня назначили атташе Франции по культуре в Будапеште, и в 1975 году я создал первую французскую телетеку за рубежом. Телевидение развивалось, и вскоре в мире уже существовало около 300 такого рода систем. Потом я был отозван в Париж. Мне не хотелось отвечать за все триста систем. Я хотел создать новый сектор при министерстве иностранных дел Франции — нечто совершенно специфическое.

— Что Вы понимаете под этим?

— Меня всегда увлекала конкретика, сам материал как источник вдохновения. Я считал, например, что аудиовизуальная работа не является чем-то универсальным, что однозначно передавать можно было бы с помощью того

или иного медиа, но что каждый из них — ТВ, кино — выражается вполне конкретно в своей специфике.

— А что было спецификой телетеки?

— Помимо того что они создавались в центрах французской культуры во всем мире — в местах, где предъявляются высокие требования к восприятию культуры, использовались главным образом видеogramмы (видеокассеты того времени).

— Как Вы подошли к идее мультимедиа?

— Появление видеокассет — очень важный момент в истории аудиовизуальной культуры, который еще дожидается серьезного анализа. Через видеокассету впервые смогла по-настоящему выразиться аудиовизуальная работа, которая прежде не предназначалась для повторения и изменений и была рассчитана по длительности лишь на телевизионное или кинематографическое представление. Примерно так, как если бы театральную пьесу можно

было бы увидеть только на сцене, и внезапно печатная публикация переносит её в другое измерение — она становится прочитываемой. То есть вы читаете пьесу как любую другую книгу — где-то останавливаетесь, возвращаетесь к прочитанному, анализируете текст. Таким образом видеокассета заставила аудиовизуальное произведение войти в мир критической дистанционности. Таким образом я пришел к идее первых видеопубликаций кинематографических работ и реализовал ее, к примеру, в работе «Allain Robbe-Grillet» (1987). Эти первые публикации обыграли уже два медиа, включая кассету с фильмом, где каждый фильм сопровождался полным аудиовизуальным анализом его автора и критика, и, с другой стороны, — книгу, в которой для комментариев фильма использовались все приемы письменного анализа.

— В чем, по-вашему, суть мультимедиа?

— Меня мультимедиа интересуют именно как способ отображения мира. Они уже существуют как источник информации (например, книга о музыке, которая иллюстрируется грампластинкой — диском). Но не это меня интересует. Одна из моих естественных склонностей — пытаться отыскать специфику медиа, под чем я понимаю оценку ее как материала, как возможности источника вдохновения, чтобы это позволило создать такой способ выражения, какой невозможно реализовать с помощью любого другого медиа. Я думаю, что у каждого времени есть свой привилегированный способ выражения, который своеобразно концентрирует в себе его художественную энергию. Так, во Франции XVII, возможно, это был театр, в XIX — роман, в середине XX века — кино, а в наши дни... В наши дни, очевидно, такого привилегированного средства нет (телевидение таковым считать нельзя, хотя его присутствие в обществе глубоко ощутимо). Мультимедиа — это попытка использовать медиа как материал, чтобы отразить фрагментарность окружающего мира, представленную в связях. Это не столько некое новое единство, как, например, единая рекламная информация, передаваемая по всем каналам связи, сколько новое произведение, в котором обыгрывалась бы эта самая фрагментарность. Возьмем, к примеру «Brise-Glace», ибо эта работа является первой попыткой в области мультимедиа.

— Какова главная идея этого произведения? Как у вас возник этот замысел?

— У произведения «Brise-Glace» двойное содержание: рассказ о неизвестном корабле, который открывает морскую дорогу там, где это кажется почти невероятным. Таким образом само содержание является метафорой установления связей. А вторая половина произведения посвящена белому пейзажу Ледовитого океана. С этой темой работали разные художники всеми известными нашему развитому обществу способами отображения. Все эти люди встретились на ледоколе в Ботническом заливе, где они собирали необходимый материал для этого многостороннего проекта.

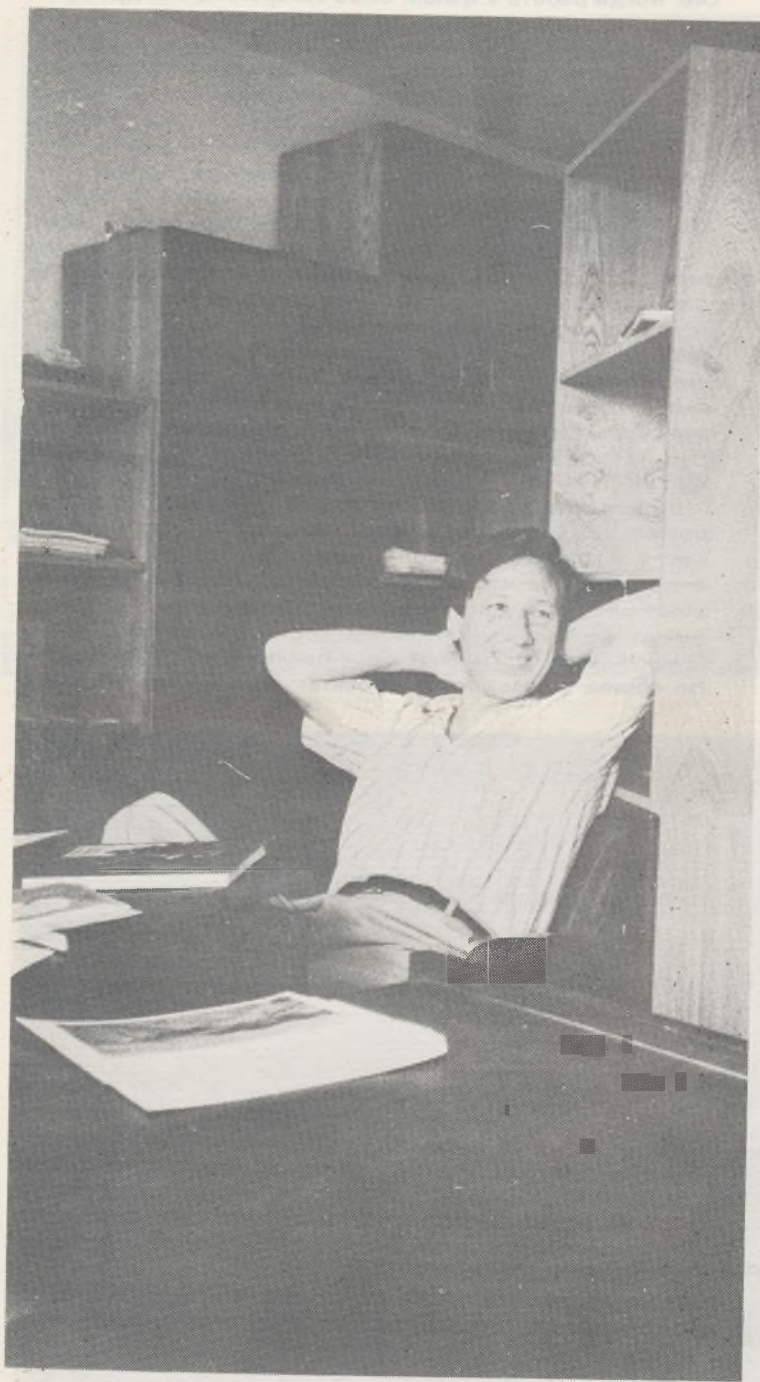
— Каким было продолжение вашего замысла?

— Когда отдельные части были завершены, я настоял, чтобы каждый автор поработал в одиночестве, а я оставил себе роль посредника и архитектора общей идеи, потому что должно было присутствовать общее согласие. Когда работа в целом была завершена, мы драматизировали каждое медиа в наиболее приемлемой для него форме. В течение одной недели они были переданы по разным каналам государственных медиа. На экраны вышел 35-мм Stereo Dolby фильм, в книжных магазинах появились две книги — «Brise-Glace» и «Le Paysage Blanc» — и буклет (критическая перепечатка вышеупомянутого), в специализированных магазинах продавалась пьеса, запись симфонии СДЛ. Феррари можно было приобрести в магазинах грампластинок, ее передавали также государственные радиостанции с комментариями о ходе экспедиции. В конце недели фильм демонстрировался по государственному ТВ, а в разных галереях и в Париже, и за его пределами выставлялись фотографии К. Волчанской. Так неожиданно была завершена на подобие сцены нового типа, на сцене медиа, опирающейся на широкие взгляды общества, что дало представлению возможность выразиться в особой драматургии медиа, т. е. все медиа якобы являлись театральной сценой, не только способом передачи информации.

В работе мультимедиа не всегда обыгрывается эта огромная конструкция медиа. Можно и исследовать, как я и пытался в своем нынешнем труде, медиа в микрокосме, — что от них остается, когда мы в своем доме между ТВ, магнитофонами и компактными дисками, между картинами, книжными полками и светом, что в совокупности составляют нашу ближайшую среду медиа. Но общее во всех моих проектах мультимедиа — поиск



BRISE-GLACE



ПАСКАЛЬ ЭММАНУЭЛЬ ГАЛЕ

рубежей, тех позитивных рубежей, которые формируют мир, в котором мы живем.

— Прошу вас, расскажите о медиа-архитектуре в «Brise-Glace».

— «Brise-Glace» является попыткой заставить все способы художественного выражения и связи, которые нас окружают, играть своего рода в симфонию медиа. Кроме того, это желание использовать каждое медиа по возможности специфики его выражения. Так, чтобы каждое произведение, созданное разными авторами, было бы возможно выделить из общего. В работе «Brise-Glace» мы старались избежать любого вида иерархии между медиа. Ни один из них не воспринимается как комментарий друг другу. Они все являются автономными и в равной степени представляют сильные стороны работы, таким образом сохраняя в себе целостность. Работы такого типа, обыгрывая глобальную среду наших дней медиа, и в целом — фрагментирование этой среды, могли бы быть тесно связаны с духом XX века вообще.

— Что вы думаете об издании ваших работ в Латвии?

— Меня очень впечатлили выдумка и уровень организации, каким выделился форум ARSENĀLS в Риге, в 1988 году. Удалась очень приятная демонстрация мультимедиа «Brise-Glace», поэтому, когда меня попросили разрешить опубликовать его латышскую и русскую версии как модель, чтобы развить создание мультимедиа в Рижском видеоцентре, я не мешкая согласился. Работа над подготовкой этой публикации превратилась в обогащение опытом в сфере сотрудничества. Это довольно необычно — соприкоснуться с глубоким культурным интересом и одновременно твердым требованием большей эффективности и развития.

— Это сотрудничество продолжится?

— Я искренне думаю, что это хорошее начало долгой и многосторонней кооперации между нашими государствами.

— Как вы оцениваете создание Бюро мультимедиа в Рижском видеоцентре?

— Этим ВЦ приобретает фантастический инструмент для культурной и творческой деятельности, которая соответствует резко нарастающему культурному интересу, который одновременно выразит и необходимостью во взвешенной обдуманности и творческой дистанционностью. Это и будет характеризовать страны Восточной Европы в ближайшие годы.

— Каково ваше мнение о проекте РВЦ «Дорога шаманов»?

— Каждая попытка в создании мультимедиа является условной дорогой шаманов. В этом проекте меня привлекает именно то, что всегда волновало и меня лично, а именно чувствительное восприятие ландшафта и исследование в соотношении между шаманским трудом и ситуациями в ландшафте. Это сильно переключается с «Brise-Glace» глубинной тягой к распознаванию белого пейзажа.

— Что бы вы пожелали Бюро мультимедиа РВЦ?

— Множество медиумов (смех)! Я желаю им идеи, желание и тягу к совершенствованию, и это как раз то, что им присуще. Потому я просто радуюсь тому, что они есть.

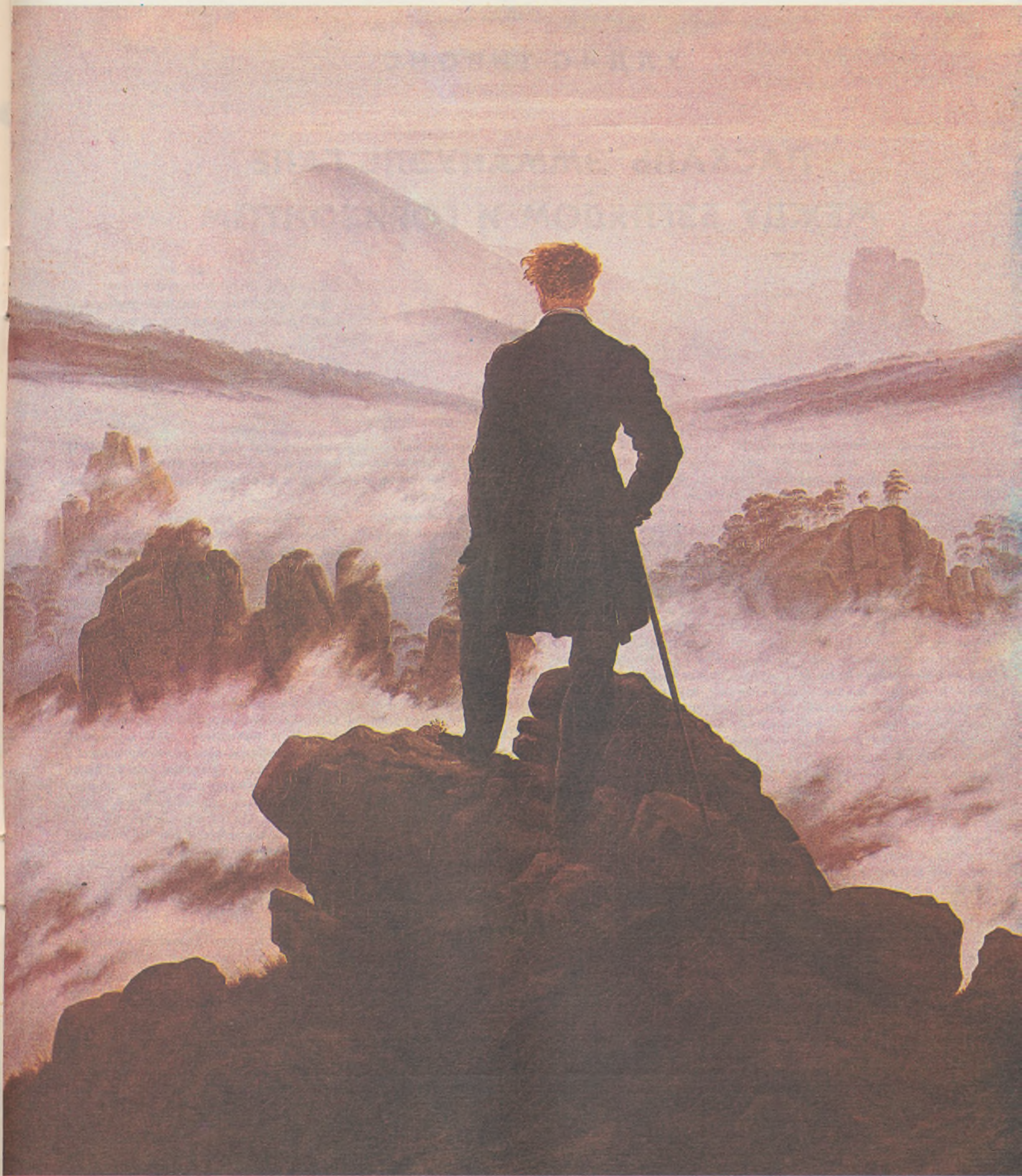
— Каковы ваши планы на будущее?

— Я готовлю новую критическую публикацию о французском кино, а на поприще мультимедиа 21 марта выйдет моя новая работа «Videoperette». Я также продолжу исследовать «пейзажность» мультимедиа... и т. д.

— Желаю вам наилучших успехов и много новых открытий!

— Спасибо!

Перевела
ИЛЗЕ СТРАУТЫНЯ



Э. С. Тарасов. Человек на скале. 1900 г. Холст, масло. 100 см в высоту. 100 см в ширину.

ПАСКАЛЬ ЭММАНУЭЛЬ ГАЛЕ МЕЖДУ ВЗГЛЯДОМ И ГОРИЗОНТОМ

Друзья, снег ожидает снег
для простой и чистой работы
на границе воздуха и земли.

Рене Шар

У каждого времени и каждого места — свои доказательства: счастливый случай свёл мифический Рижский видеоцентр совпал с monsieur Гале из Франции, в итоге выпуская в свет фильм и книгу, и латыши, подобно арабам и американцам, получают совместное (мультимедийное) наставление: в наше «постоянство веселья и грязи» вломился «Brise-Glace», удостоверяя мир во взоре Бога, мир в его предполагаемом совершенстве.

Скажем, «Я ухожу из дому» — выбор тяготеет к миру, одним рывком пробуя прервать сцепленный одно-за-другим ряд событий, хочет вселиться в него, в мир, слишком большой для дома, с закрытыми глазами стараясь впасть в бытие. Куда же бросился Толстой в конце? Есть что-то мешающее впереди нас («пропустите!»), что преодолевается одним шагом, одним махом. Здесь мы лишь «странники и гости», жизнь — это только аскетическое путешествие, отшельническое испытание способности выдержать ограниченность реальности, епитимья нарушителю границ, — и так до обжигающего сознания, что, может быть, только смерть снова соединит нас с тем, что было всю жизнь нашим желанием, нашей тоской. Страсть, от которой невозможно отказаться, страсть, которую невозможно насытить, — страсть быть, и Паскаль знает, где у нее наибольшие возможности осуществиться — в Белом пейзаже.

«Белый пейзаж завораживает потому, что, будучи белым, все же остается пейзажем. Он бел и прост, в нем нет ничего, кроме света и прозрачности, — это мир, сходный с чертежом. Прозрачность развивается в трех ипостасях, которые характеризуют состояние вещества: лед, который властвует; океан, который временами прорывается сквозь льды; видимые или неувидимые пары, туманы, облака или изменчивые потоки атмосферы. Оттенки дневного света переходят из одного в другой — неустанно перемежаются прозрачность и отблески, так же как свет — мерцающе матовый или отчасти просвечивающий, — есть далекий ответ или сиюминутная игра, когда в преломлении лучей рождаются живые и неожиданные отблески, возникает приглушенное опаловое мерцание и объединяется во всеобщем сиянии. Всеохватывающая белизна этой парадигмы мира как будто приближает предчувствие неизбежности слияния всех вещей в одно большое целое. Но это пейзаж. Это не белый хаос; каждое мгновение у пейзажа свой облик — хрупкий, изменчивый, но постоянно создаваемый заново; эта видимость скрывается в его рождении. Взгляд снова и снова жаждет уловить это бесконечное дробление и превращение белизны в целый мир. Сталкиваясь со светом, взгляд рассеивается и затем концентрируется на

горизонте, который противится этому как место разделения — простой изгиб белизны, в которой белое обретает свое жемчужное мерцание и простирается белизной равнины и небес.

В стихотворении Сафо описано, как верно направленный простой гребень превращает тяжелые и спутанные волосы — черный неясный хаос — в космос, в мир, придавая волосам порядок, форму, красоту. Белый изгиб горизонта — ни исток, ни следствие, его нельзя отделить от пейзажа. Так же как гребень, горизонт свидетельствует о рождении космоса белизны; это место, где отделенные друг от друга небо и пространство соединяются в единый пейзаж. Горизонт, разделяя, соединяет: рубеж.

С двойственным образом этого античного бога Термина не считались ни Эдгар По, ни Жюль Верн, со всей силой своей романтической мысли подчеркивая только негативную сторону границы. Однако повсюду, где рубежи что-то оканчивают, они же что-то и начинают. Ибо их конец есть и начало, их края — это пороги, они отмечают место в бесцветном пространстве. Чтобы о границе можно было думать как о контуре, о том единственном, что создает образ вещей и мира, придавая ему осязаемость, сначала надо признать двуединство основы. Отказываясь от этой двойственности, романтики усматривали в белом пейзаже только место и образ преодоления границ. Это преодоление привело к обособленному единству, иллюзорному отделению, ибо единство можно обнаружить только в самом процессе разделения, и он неотделим от границы, которая сама его создает.

Белый пейзаж — это не место преодоления границы, но это место, откуда происходит мир — расчлняясь и уходя от неопределенности белизны; это место, где происходит разграничение, где граница высвечивается как основа. Именно двойственный образ границы заставляет взгляд обратиться к белизне; горизонт здесь порог, перелом, создающий основу. В неопределенности взору мнится, что в любой момент он приобретет орудие индивидуализации — эту двойственность, которая проявляется во всем, ибо является составной частью реальности, только здесь она более очевидна, чем где-либо. Но граница ускользает, поскольку не может быть сведена лишь к одному из одновременно присущих ей значений: единству и различию. Сама по себе она ничто, у нее нет другой реальности, кроме самой реальности, которая таким образом обнаруживает себя».

П. Э. Гале. «Белый пейзаж».



Картины КАСПАРА ДАВИДА ФРИДРИХА

Фото ГВИДО КАЙОНСА

Как любой пейзаж, белая полярность М. (фр. М — в сокращении месье) Гале двойственна по своей природе: это взгляд, и это действительность, причем в пейзаже взгляд и то, на что глядят, существуют одновременно. Как абсолютность взгляда — это белизна, а как непосредственность действительности — это лед¹. Перед нами — белый пейзаж: он жесткий и белый — взгляду не за что зацепиться, ноге не обо что опереться.

Ледокол уже по определению противоположен льду, находится в ситуации его преодоления. Твердый как лед, холодный как лед, сердце как лед, лед как зеркало — мир во льду наиболее чужой, наиболее другой, с ним невозможно смешаться, это непреодолимый барьер твердости, его можно только ломать, но даже тогда каждый кусочек льда останется недоступным маленьким миром. С силой доказательств мы бьемся об это, так же как мир бьется о наш разум. Инобытие льда всего лишь поверхность, это абсолютная вещь в себе, рубеж, с которого начинается самостоятельность вещей и их неначертанное единство, это прообраз формы вещей, так же как тишина (а лед тих) — это начало слов². И только одна сила удерживает и несет лед в его самости; и другая сторона — «ножницы режут бумагу, камень разбивает ножницы, бумага накрывает камень», — и как разум тянется к сердцу, так лед желает огня («Горячие слезы упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили лед и расплавили осколок»). Любовь ледокола ко льду, который, ломаясь, не разламывается. Лед проявляется в наших чувствах именно в реальности. Этот белый скользкий пар, который поднимается из щелей бытия, превращаясь в нескончаемый, неживой туман, леденящий шум отломившихся кусков действительности и мрачное ощущение, что только смерть преодолет границы: так Моисей в ужасе прятал глаза от куста, снедаемого огнем, ибо никто не может взглянуть на лицо Бога; это ужас перед действительностью³. Пейзаж вызывает ужас; он ужасен. Ужас — «знак врывающейся реальности».

«Основное свойство льда все же белизна». И не в том смысле, что белизна — это цвет со всеми реальными оттенками, а как условие цветов и контуров, как возможность бытия, видимость бытия, его свечение. В момент абсолютной белизны взгляд теряет горизонт — подобно тому, как на полюсе место теряет рубеж⁴ — горизонт, который был его двойником в непрерывности, эту линию воли мира, и видимость бытия заманивает его в полную белизну [делаясь рубежом, от которого нет больше спасения]. Этот крайний предел белизны сам по себе — ничто, будучи всем: «реальность в своем присутствии». Именно в этом исчезновении взгляда и горизонта в белом пейзаже мир преодолевается как несовместимость с волей к миру, белый Сфинкс рассыпается, и кончается заколдованность мира, ибо все превращается в осколки льда; каждая попытка поучения о том, как дойти до абсолюта. Конец этой иллюзии преодоления ставит границу основой — в акте ограничения белый пейзаж становится рождением мира. «Так же как красота рождается на гребне волны, так же в изгибе белизны полярных просторов, кажется, рождается мир». Тихая поступь взгляда непреодолима, легкое прикосновение взгляда решающе, ибо созидательны лишь пустота и тишина.

«Различные произведения, составляющие «Ледокол», созданы почти одновременно в декабре 1987 года во Франции, а затем в Швеции, разворачивая таким образом свиток какемоно блеклой зимы. В этом контексте издание мозаики картинок «Ледокола» не следует рассматривать как тип геральдики во всем этом предприятии. Речь идет скорее об анти-геральдике, изображении действительности, близкой Жюлью Верну и Эдгару По. Рассыпанная мозаика картинок — это только переходящая, придуманная, изначальная катастрофа, в первом и последнем моменте единства образа, который восстанавливает кропотливый труд игрока. Чтобы представить себе единый образ, который объединяет фрагменты «Ледокола», образ атолла или архипелага не подходит; их фрагментарность только кажущаяся; острова, которые их составляют, — это единое

целое, ибо у них единое основание — земля, объединяющая их под водами моря. «Ледокол» — противоположность творению барокко. Наличием чрезмерного изобилия форм, культом непрерывности и метаморфозы, так же как и архитектурной симметрии систематического или даже лабиринтообразного дробления, барокко непрестанно ссылается на скрытое или асимптоматическое единство. Пусть оно делает вид, что боится это единство утратить, и цель такого притворства — подчеркнуть это единство или магическим образом — путем изображения — принудить его к существованию. «Ледокол», для которого граница — это реальность, можно собрать как созвездие произведений и media, отражение свободной последовательности взглядов, которые одновременно далеки и близки, которые объединяются на основе различия. Эта свободная последовательность взглядов образует внезапно возникший смысл «ничто». Как на дне ночного мрака возникает нечаянное белое сверкание; созвездие — знак⁵ — становится истинным именем рождающегося смысла».

П. Э. Гале.

Но иногда «между горизонтом и взглядом сквозь лед проходит ледокол, как эхо горизонта в глубине и материализация взгляда». Это, в первую очередь, совершенно настоящий, реальный корабль, ломающий лед в доподлинном мире, в Ботническом заливе в 1987 году. И в то же время нос «Brise-Glace» Гале врезается в белый пейзаж, как нож жреца в тело жертвы, как сознание — в мир. В своем стремлении к белой полярности он сам становится частью пейзажа, так же как сознание делает мир тем, что он есть, — миром, в котором присутствует сознание. Ледокол движется по траектории взглядов членов команды М. Гале, в результате этого ограничения реальность расцветает Белым пейзажем. Таким образом мир существует в совокупности всех взглядов, либо во взоре Бога. Взгляды объединяются на основе разделения, в своем бесконечном скольжении создавая смысл из ничего, культивируя сложность мира. Паскаль со своим Ледоколом перемещается, чтобы видеть, и бытие раскрывается ему в своей очевидности.

¹ «... с одной стороны, лед — как метафора твердого вещества и жидкости одновременно — становится категорией действительности, вводя тем самым зародыш разрушения границ в недра самого мира, с другой стороны, — белизна, отражающая и снятие всех границ, и единство действительности...». П. Э. Гале.

² «Язык родствен льду, он больше неотделим от тишины, которая его создала и которую он продолжает в своем крике, — одинокий, как айсберг во всеобщей белизне. Язык высокомерен и требователен перед лицом смерти, он разрушает иллюзию преодоления и славит то, что зримо. Блуждающие смертные и ослепительные ледяные слова неразрывно связаны со льдом, так же как взгляд соединен с большим Белым горизонтом». П. Э. Гале.

³ «Тьма заметно сгустилась, и ее уменьшали только воды, отражающие белую завесу перед нами. Огромная стая птиц свинцово-белого цвета летала за этим странным парусом с неизбежным криком «текели-ли!», исчезая вдали. В это время Ни-Ни немного шевельнулся на дне лодки, и душа его отлетела. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятия. И в этот момент нам преграждает путь вынырнувшее из моря человеческое лицо, подернутое пеленой, которое было гораздо больше, чем лицо любого жителя Зеландии.

И лицо это было снежной белизны».

Эдгар Аллан По. «Приключения Артура Гордона Пима»

⁴ «Это единственная точка на земном шаре, которая не соответствует другим, — неподвижная ось движения, которая поднимается над всеми другими точками как «всеобщая часть мира», где то, что рассыпано в других местах, собрано воедино. Это сходство магических уз полюса с миром и образом белого пейзажа позволяет превратить полюс в место, где исчезают границы, где они распадаются или сливаются; где мир сам себя преодолевает; это порог, через который выходит беспредельное — то ли туман спускается сверху, то ли — из черного подземного мира; эта рана мира, через которую вытекает его живая субстанция».

П. Э. Гале

⁵ В оригинале слово signum, употребленное в своем первоначальном значении — что-то, происходящее без какой-либо заданной необходимости.



Развращенный ребенок имеет особые способности к буюто, потому что он знает, как создавать красивые этюды.

ТАЦУМИ ХИЙКАТО

АННА ЛЕППИК РАЗРУШЕНИЕ ПОДОБИЙ, МОЯ ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА С ТЕАТРОМ «ДЕРЕВО»

Не я открыла модную вещь по имени «театр «Дерево». Я оказалась их жертвой поневоле, придя в Ленинградский Дом молодежи на концерт американской панк-группы «Соник ЮФ». Но мой приятель сразу объяснил мне, что эти «крейзи» копируют японский театр «буюто», и потому...

Однако было поздно. Однако Кацуо Оно*, увидев их в Вене, был поражен не меньше меня. И, может быть, так же доволен.

Буюто появился в Японии (и везде) в 50-х годах. Он включает в себя провоцирование аудитории с помощью обращения к образам, травмирующим сознание (сегодня), и элементы классического танца (белые маскоподобные лица), усложненность ритмов, дрожащее направление в

отличие от симуляции легкости в европейском танце, «прохождение через ворота ограничения на неисследованную территорию».

«Дерево» существует два года — вместе с ним спектакли «Красный» и «Белый», «Пять характеров» и бездна чего-то НАСТОЯЩЕГО. На открытом пространстве (города или пляжа) пятеро умственно отсталых лиц изображают цирк со всем его фантастическим и вульгарным блеском. Один из них (в потрепанном костюме Снегурочки) рассказывает, а другие «актеры» действуют... Наивное веселье идиотов вызывает смехи зрителей (зрители уверены, что это и есть «театр абсурда» — цирк в доме для умственно отсталых). Чувствительность толпы еще не заострена, она забавляется. Интеллектуальные пароли и техницизмы, вылетающие вместе с брызгами слюны из Снегурочки, а также полный мейнет газетных штампов

* Классик «буюто».



Ленинград, 1989 г. Перформанс «Нелюбовь к геометрии». Елена Яровая и Алексей Меркушев.

маскируются немного болезненным зрелищем веселья убогих.

Однако ужасное пространство уже создано, и зритель готов его попробовать.

Вообще о термине «театр абсурда», который стал, как и любой термин от частого употребления, пустым. Абсурдистская драматургия форсирует ситуацию с изначально идиотской посылкой. Остальное — последовательное развитие ситуации, которую действующие лица принимают *status quo* и верны стереотипам поведения и социальным ролям. Идиотизм для нас, зрителей, сверхочевиден и состоит в том, что люди усердны и тупы в исполнении своего социального долга, механистичны. В абсурдистской драматургии нет личности, это взгляд сверху на муравейник. В этом смысле «Дерево» никогда не был театром абсурда, так как у него посылка абсолютно реалистична и абсурден социально персонаж, а во-вторых, у него нет драматургии.

Существует логика образа, индифферентного к действительности, стадии развития пейзажа и отношения к нему жизни (внеисторический образ). Литература («память подобий») избегает этих образов как чумы. Ей нечего сказать по их поводу, а молчать она не умеет (хотя были попытки, например «дада»). Понятие повествовательности в спектаклях «Дерева» упразднено. Единства спектакля как единства ритма нет: монтажные стыки случайны.

Все, что подлинно, — выглядит агрессивным. Все, что несет отпечаток общества, деформировано им, — принадлежит обществу, нет — опасное.

Иногда деформация количественно достигает уровня деструкции (разложения, расформирования объекта) — старики, нищие, дети-уроды. Это уже социально незначимое, отходы, бесформенное — это мусор. Сценарический образ — это и (есть) зерно их драматургии. Гомункулус — без волос и почти без одежды — самая общая идея человека. Личность, лишенная прошлого, вре-



Татьяна Хабарова и Антон Адашинский, Прага, 1989 г.

мя упразднено, коммуникации оборваны. Интенсивность самоощущения предельна.

Мгновенная simultанность сознания через образ — тело позволяет воспроизводить энергетику объекта, не пользуясь метафорами (техника театра «буто»). Этюд «Смерть фотомодели» Елены Яровой — «отрицание объективного времени, качественное мгновение в чистом виде»: агонизирующий человек в желтом платье и пером на плече (фотомодель!), переход от жизни к смерти (и назад, как прокручивающаяся лента), с тем же каменным лицом фотомодель, глядя на облака, продолжает свой путь, справившись с судорогами смерти, испытав смерть в очередной раз, так будет вечно. Это зрелище невыносимо в силу онтологического ужаса, не только непристойности.

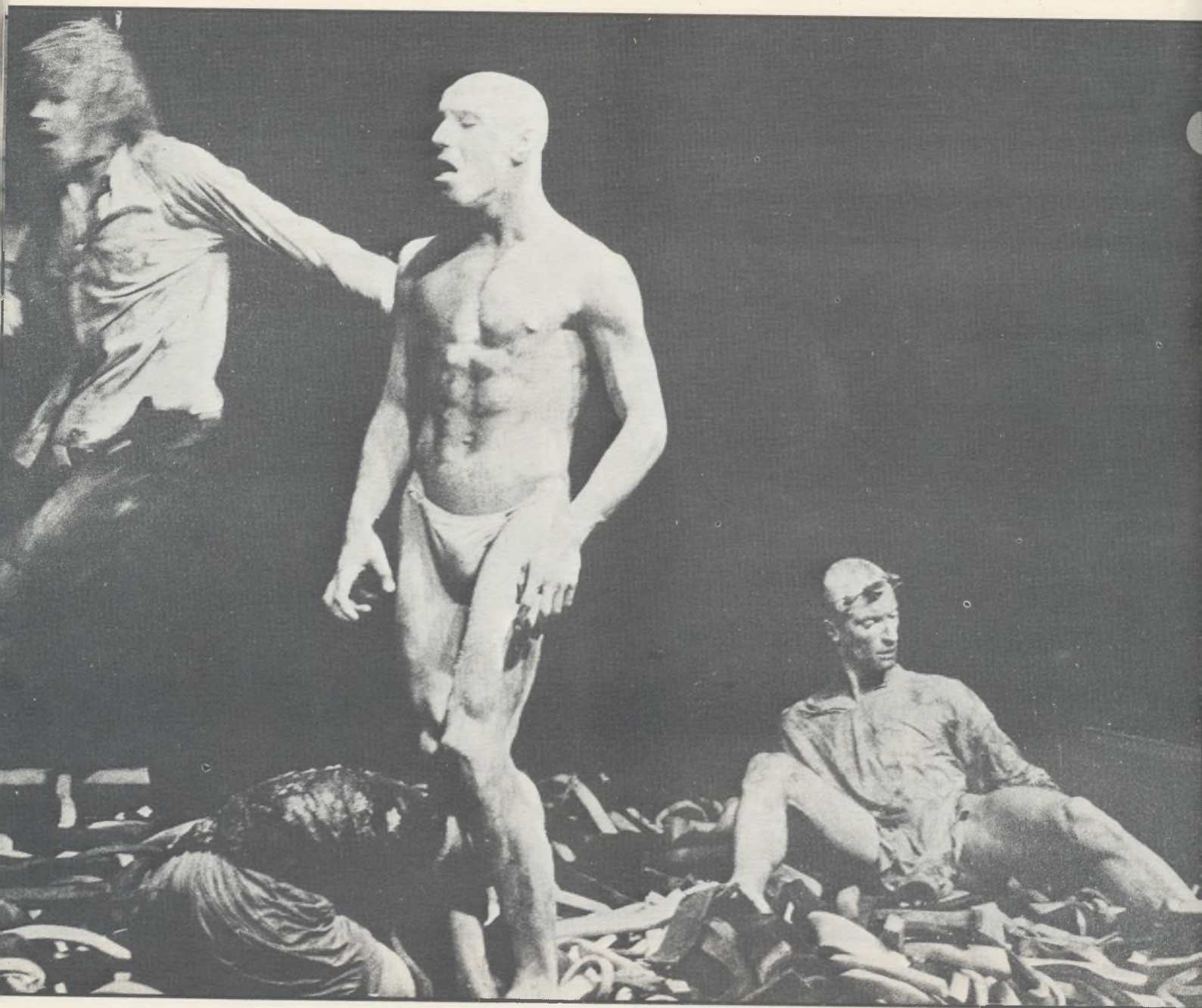
В итоге мы понимаем, что это Красота, не предусмотренная Богом. Происходит сдвиг эротического взгляда с традиционного эротического объекта. Катастрофическая

напряженность желания к объектам аскетическим и странным.

Единение аудитории со сценическим объектом (ассимиляция) невозможно без травмы для аудитории: объект ужасен. Не потакание комплексу неполноценности толпы, а атака на самые латентные основы их социальных привычек и предпочтений.

Это не только искусство эпохи постмодернизма и постпанка, это новая история нового театра. Утешительно, что театр тцецов по Станиславскому умер. Но я боюсь попыток его возрождения через обращение к хорошей литературе (Борхес, Варгас Льюса). Надеюсь, это будет еще не скоро. Она требует знания культурного подтекста, незаурядной подготовки, дать которую театральные школы еще не способны.

Проблемы эротики и смерти — любимые темы культуры. Если искусство удаляется от них и запретительные сюжеты (с нарушением всяческих норм) уходят из круга самых шоковых, качество чувственности общества убито



«Пять характеров», 1989 г. Дмитрий Тюльпанов (в центре)

социальными абстракциями (газетные обсосы — средство подавления индивидуума, запугивание его словами), то это свидетельствует о гибели культуры — субъект стал индивидуально абсолютно безопасен, и «культура» больше не нужна.

Что мы должны делать в этот момент — попытаться остановить рост энтропии с помощью собственного сверхэротизма. Перенесением чувственной интенции на нетрадиционные объекты.

В этюдах Адасинского есть некая комическая избыточность. Это талант по своей природе трагикомический, все время балансирующий на грани кощунства, патетики и гиньоля. Его работа составляет жуткий контраст по сравнению с Татьяной Хабаровой — гениальным трагическим призраком. Елена Яровая — то, что невозможно вынести. Это совершенно бесчеловечно (по отношению к зрителю).

Социолент советского общества включает коды непристойности, которые легко прочитываются нами, но беспо-

лезно-экзотичны для зрителей Запада, которые могут воспринять только энергию спектакля, его безмятежную коммерческую красоту вроде попытки изнасилования большой серебристой трубы обнаженным и, по-видимому, неполноценным человеком (этюд Дмитрия Тюльпанова).

Жизнь выработала в советском человеке определенную тонкость, которая позволяет ему с ужасом следить за истеканием смыслов из всего, чему радовались его родители и что обнажило ныне свои деревянные кости, как гипсовые футболисты из Парка культуры и отдыха с красноречивыми фашистскими ляжками.

Нет, мелодраме нечего делать в доме, где еще лежит покойник.

«В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор»
(Из Нобелевской речи И. Бродского)

Не забывая о гибели честной, мы стройной толпой идем к некому оврагу, куда толпа опадает, как водопад [ад и рай]. Внезапное осознание этого движения рождает различные эсхатологические призраки...



«Область красного цвета», 1988 г. Антон Адасинский и Алексей Меркушев.

Фото Виктора Лаврешкина.

Как хор, мы обречены на гибель. Наша надежда на бессмертие только в солировании.

В этом бесспорность их чувства превосходства. Наша гибель, которую они читают в заученных движениях нашей одежды. И их чудесная свобода.

У нашего времени нет пророков, нет предшественников, мы еще должны родиться, то есть забыть в шоке чужое прошлое, навязанный нам субпродукт предшествующей культуры, обезумевшего от войн поколения с его кровавым комплексом вины.*

Они чудесно косноязычны в жизни и говорят о диктате жеста: о том, как из некоего странного жеста вырастает законченная чудовищная история, которая деформируется от спектакля к спектаклю в зависимости

от настроения актеров. Жест, семантика которого неочевидна и потому пугающа, — это зерно, из которого растет трава спектаклей.

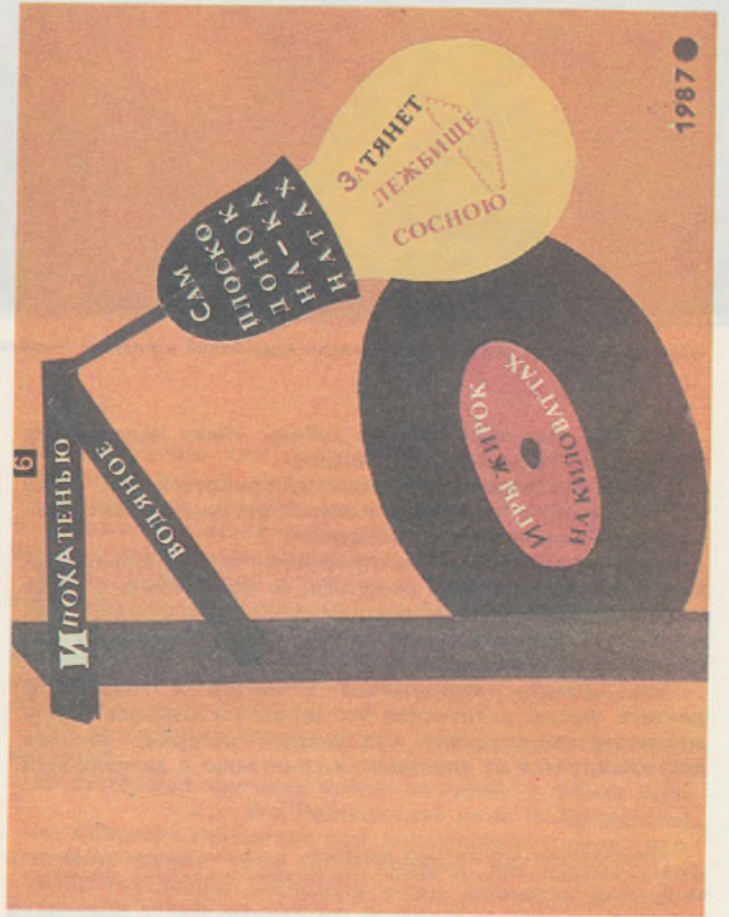
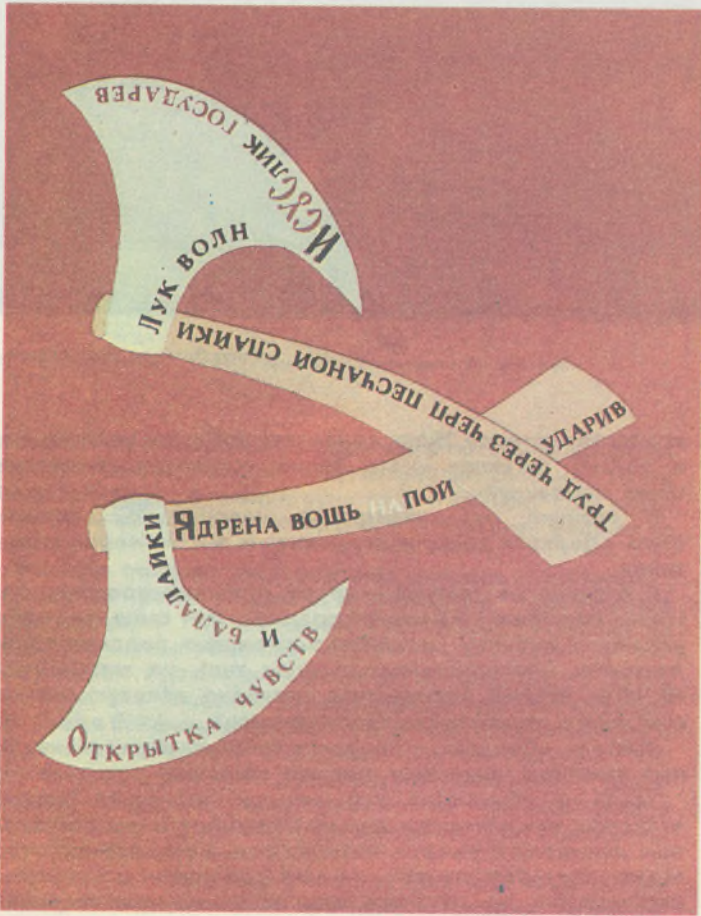
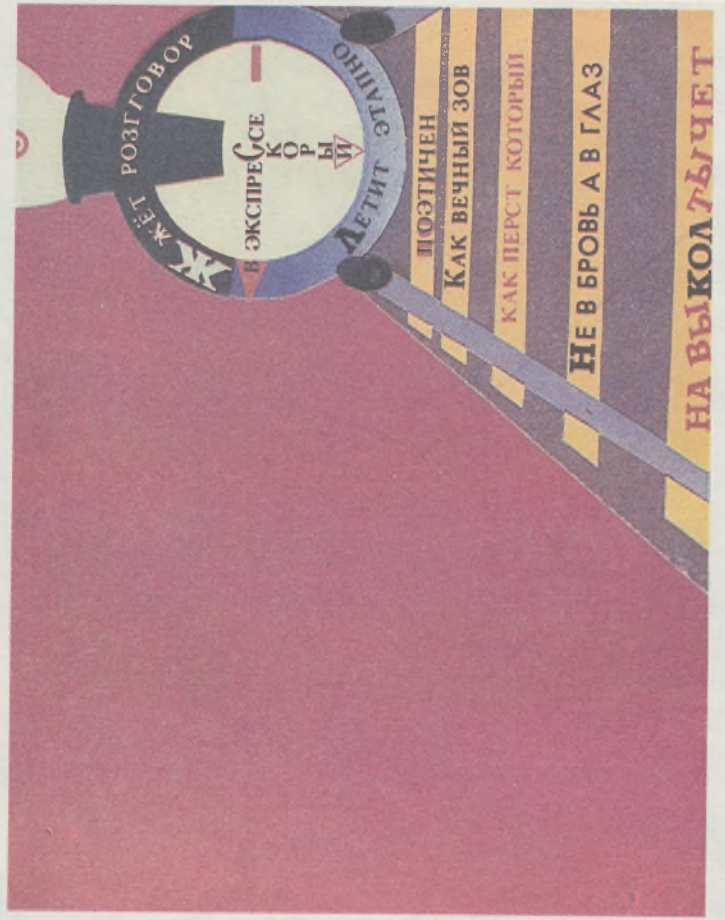
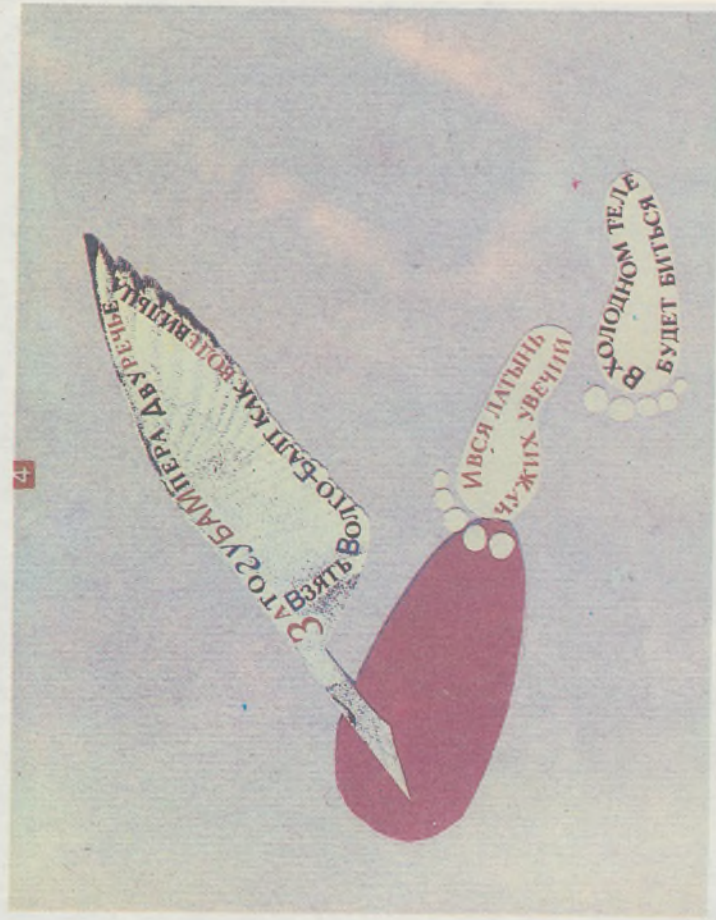
В отличие от мизантропии современной драмы, стиль «Дерева» доверчиво идеален и высокомерно патетичен.

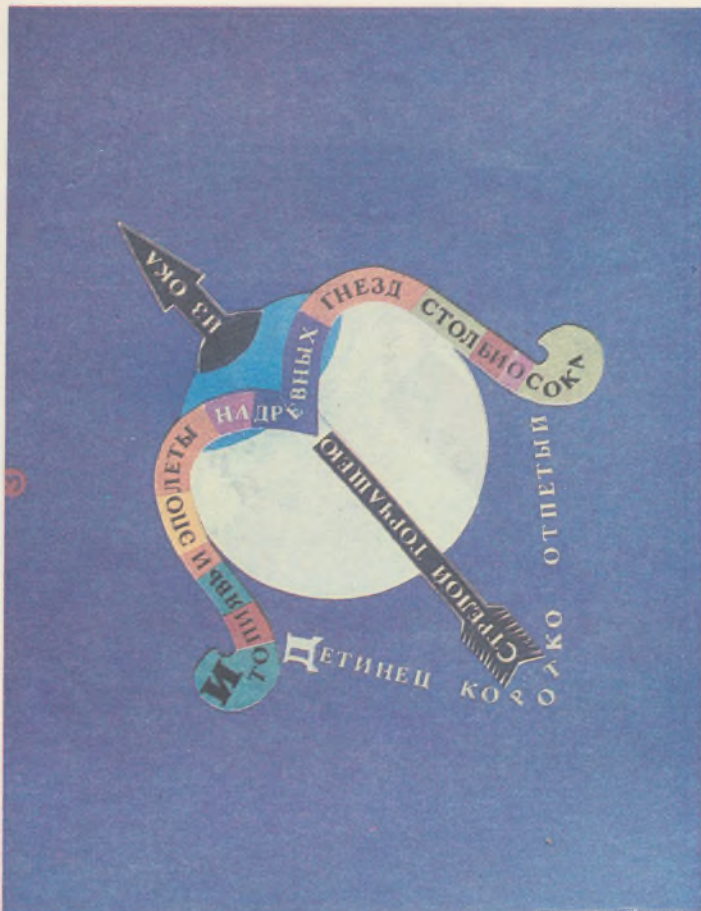
В отличие от театров — групп «уличных провокаций» (типа «Дельфин»), «Дерево» предпочитает свою, рафинированную публику, заигнотизированную подлинностью движения (инфернальностью игры тел), не желающую НИЧЕГО КРОМЕ (осуществив наглядно вековую мечту советского пропагандистского аппарата...).

Зрители «Дерева» — попросту собутыльники, опьяненные напитком, которому еще нет названия.

Театр не абсолютен, так как это l'act vivant (живое искусство или искусство живьем), он находится в постоянном движении к смерти, которая есть метаморфоза тел. Можно свидетельствовать о месте, где довелось испытать наслаждение, но от этого оно не станет достовернее.

* «Неисчерпаемая злая сила прошлого (...) она пресекает новую попытку остановить новый Закон, при котором наконец-то все станет возможным». Р. Барт.





ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ГОРНОМ

— Александр, что скрывается за авторской терминологией «фоносемантические стихи»? Чем они отличаются от «обычных»?

А. Г. Прежде всего языком. Единицы фоносемантического языка — не слово в его графическом и звуковом исполнении, а часть слова, сочетание из нескольких звуков, предназначенное для восприятия на слух и адресованное к одному или нескольким смысловым рядам. Эту единицу я называю фоносемантическим следом, фоносемой, по спектральной аналогии — фонокраской или смысловым созвучием... Далее... Мои стихи существуют в звуке и предназначены в первую очередь для восприятия на слух... Поясню, что я имею в виду. Речь и письмо — две совершенно разные системы: одна — подвижная, пульсирующая, изменяющаяся, другая — монолитная, наподобие гранитной плиты с высеченными буквами. Отсюда и поговорка: что написано пером — не вырубишь топором. Современный цивилизованный человек, произнося слово, всегда бессознательно воссоздает его и графически. Такое письменное дублирование на скрижальной плоскости — неотъемлемый атрибут нашей взрослой речи. «Говорит, как пишет», — можем услышать мы. Это о человеке с доминирующей письменной речью... Так вот, фоносемантика меняет вектор этого высказывания на 180°: «пишет, как говорит». Она обращается к изначальному. К слову. Она освобождает Слово.

— И открывает новые возможности?..

А. Г. Прежде всего позволяет языку и речи работать полнокровно.

— А не заглянуть ли нам на «кухню», чтобы воочию убедиться, из чего и как возникает ваша поэзия?

А. Г. Не уверен, что разговор следует переводить в лингвистическое русло. Вряд ли он будет походить на чтение рецептов из поваренной книги. В фоносемантике все не так очевидно, как в кулинарии. Простое заглядывание здесь мало что скажет непосвященному.

— Хорошо, вот, к примеру, термин «семантическая аннигиляция» — что это такое в фоносемантике?

А. Г. Это соединение двух или нескольких фоносем, часто совершенно противоположных по значению, под крышей ими же составленного слова.

— Понятно, так возникает третье измерение... А «эффект незакрепленного балласта»?..

А. Г. Это постоянное свободное перераспределение слушателем смыслов в слове по цепочке — и в строке, в строфе, в стихотворении, — сугубо индивидуальное для каждого, оно-то и создает живую, колеблющуюся систему.

— Получается, что сам слушатель, произвольно дозируя для себя семантику колебаний в системе, творит по образу и подобию своему... Другими словами, вы делаете как бы черновую работу и предполагаете сотворчество в конечной фазе: внести свои определяющие штрихи, вдохнуть жизнь.

А. Г. Абсолютно верно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это уже не упорядоченная логическая речь, а, как бы сказал Владимир Маякин, — музыка, извлеченная из

Александр Горнон — ленинградский поэт, член творческой лаборатории «Поэтическая функция» и ассоциации «Живая культура».

мерцания нескольких смыслов. Естественно, я сильно упрощаю, но некоторое представление о фоносемантических стихах, думаю, составить можно.

— Но если это не логическая речь, то существуют и особенности ее восприятия?

А. Г. Да, фоносемантическая поэзия требует музыкального восприятия. Это живой процесс, его нельзя останавливать. Надо стараться фоносемантические образы удерживать на периферии сознания, следя за тем, чтобы они не оказались перед прямым мысленным взором, который, тут же начиная их анализировать, останавливает живой процесс, то есть убивает его. Фоносемы, фонораскраски, смысловые созвучия должны постоянно перетекать, преобразовываться, играть, не стесненные никакими ограничениями. Доверимся свободе в нас. Не будем допрашивать с пристрастием каждую неясную, смутную ассоциацию: что ты означаешь? . . . — иначе поэзия гибнет.

— Александр, кое-кому может показаться, что создание фоносемантического стихотворения аналогично простому соединению нескольких фоносем. Что вы можете сказать таким читателям?

А. Г. Пусть попробуют. Мне как-то даже неудобно объяснять это . . . В фоносемантической строке при всей ее для неискушенного взгляда свободе нет элементов необязательности: каждый последующий звук органично связан с предыдущим, а все стихотворение определяется общим колеблющимся фоносемантическим полем. Изменение даже одного созвучия может разбалансировать всю систему, потребовать существенных изменений в других его частях, а то и развалить стихотворение полностью.

— Скажите, как вы открыли фоносемантику? Из морской ли пены она вышла? Зачастую авангард связывают с агрессивностью . . .

А. Г. Я не оккупант, не захватчик чужой территории, не колонизатор русской словесности. Все эти определения, равно как агрессивные манифесты и декларации, были свойственны авангарду 10—20-х годов. Я никого не сбрасываю с «парохода современности». Для меня фоносемантика — естественное продолжение поэтической традиции. И возникла она из тех смысловых рядов «горчачей напряженности», где рвалась игровая словесная нить и страницу неудержимо заливала долго скрываемая боль. Именно здесь как продолжение, но уже на другом уровне и появилась фоносемантика. Она как бы вводила стих в область иных законов и измерений. Это — качественный скачок. Его правомерно сравнить с дзэнским смехом или, допустим, с усмешкой Моцарта в «Степном волке» Гессе . . .

— А графическая версия ваших стихов тоже связана с дзэн-буддизмом?

А. Г. Рисунки, которые вы видите, — одна из попыток перевести фоносемантику в изобразительное поле. Как я уже говорил, элементарные единицы в моей поэзии — не слова, а их семантически окрашенные части. Выделенные цветом, шрифтом, взаимным расположением и тому подобное, они-то и создают эти картинки — графическую версию стихотворения. Каждая из них выполняет и объединяющую функцию: создает стихам ауру целостности.

— Эти замечательные рисунки, вероятно, осложняют ваши издательские дела?

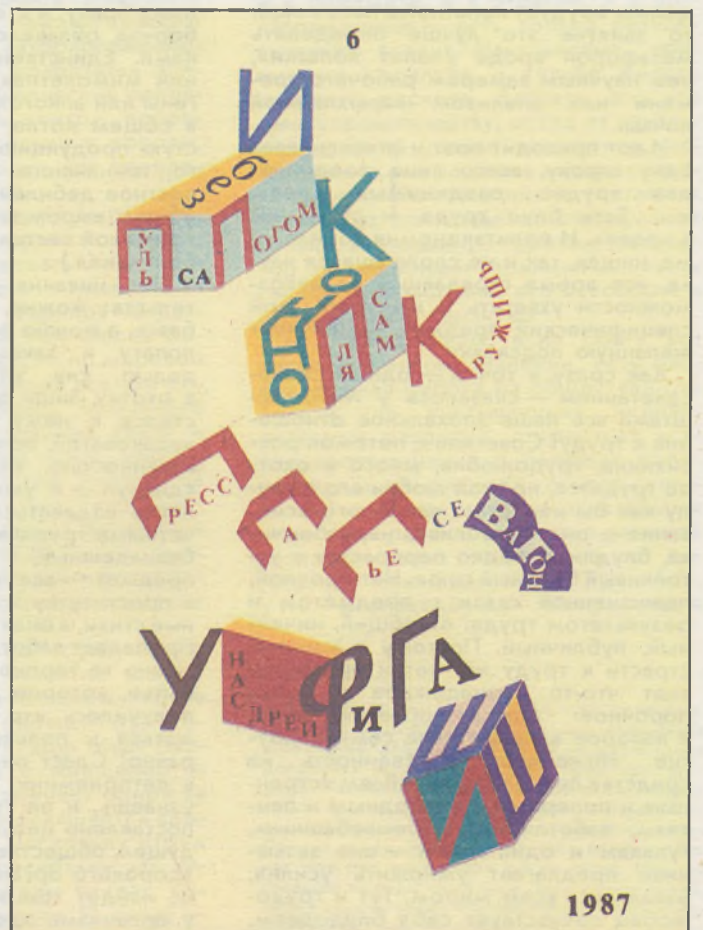
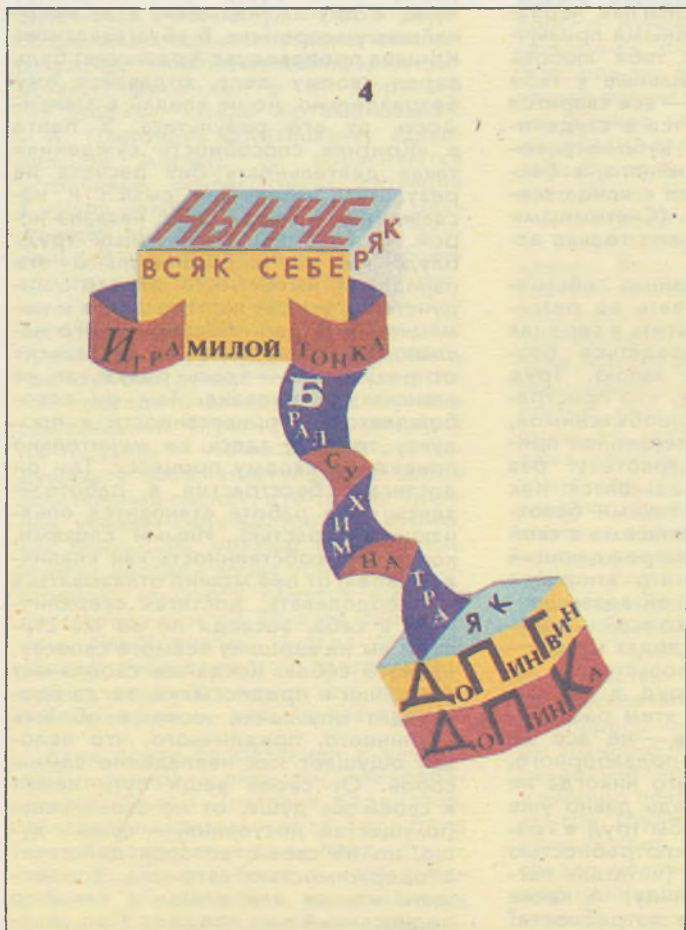
А. Г. Столько «хорошей» и «разной» поэзии накопилось за 70 лет, что до понимания и оценки сегодняшней очередь, наверное, дойдет еще лет через . . . столько же.

— Мне остается только надеяться, что публикация позволит достаточно широкому кругу читателей увидеть, услышать и оценить вашу поэзию.

А. Г. Спасибо, будем надеяться . . .



Фото ОЛЕГА ЗЕРНОВА



МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

БЛУД ТРУДА

Порою одна метафора глубже раскрывает суть предмета, чем сотни и тысячи монографий. Сколько написано у нас о социально-экономической природе труда, о его былой эксплуатации и нынешнем раскрепощении, о моральных и материальных стимулах и воспитательном воздействии на личность, о его грядущем превращении в первую жизненную потребность и способ всестороннего развития... А трудимся мы все равно плохо, хотя и нельзя сказать, что мало.

Сколько трудились в 20—50-е годы, пока не разленились к 60-м! Дни и ночи, до кровавых мозолей и ранней могилы — на работе сгорали, как говорили тогда о пламенных тружениках. А все равно богатства не нажили, и во что этот труд отлился, в какие веселые формы и чуда цивилизации, исключая разве чудо космической невесомости? Как будто не надрывались люди на полях и заводах — земля в запустении, машины на полном износе, а в глаза иногда и заглянуть страшно. Всего, всего не хватает: и еды, и одежды, и книг, а главное — смысла того, откуда и почему вся эта нехватка.

Может быть, сам этот неустанный труд такой особенный, что силы отнимает, а взамен ничего не прибавляет, и вообще не труд? Если, например, малыш орудует лопаткой в песочнице, то занятие это лучше определить метафорой вроде «лепет лопатки», чем научным замером рабочего времени или анализом взрыхляемой почвы.

И вот приходит поэт и отчеканивает одну строку, всего лишь соединяет два трудно соединимых слова. «... Есть блуд труда, и он у нас в крови». И политэкономия социализма, нищая, так и не сложившаяся наука, все время страдавшая от невозможности ухватить и нащупать свой специфический предмет, — получает желанную подсказку.

Как сразу и точно — одним словосочетанием — сказалось у Мандельштама все наше эпохальное отношение к труду! Советянин, потомок россиянина, трудолюбив, много и охотно трудится, но этой любви его к труду как бы недостает законного основания — она тороплива, неразборчива, блудлива, редко перерастая в устойчивый брачный союз. Нет прочной, пожизненной связи с предметом и результатом труда: он общий, ничейный, публичный. Поэтому в истовой страсти к труду нет-нет и проскользнет что-то безнадежное и почти порочное: оплодотворяется лоно, в которое вливают свое семя и другие. «Всеобщая собственность на средства производства». Всем встречным и поперечным: усердным и лентяям, заботливым и бесшабашным, гулякам и однолюбам — она зазывчиво предлагает умножить усилия, навалиться всем миром. Тут и трудолюбе почувствует себя блудодеем,

а если и продолжит работу, то как бы исподтишка, не в общей связке, затаивая и лелея для себя любимый предмет. В том же конструкторском бюро — но откладывая в заветный, запираемый ящик дорогие и неосуществимые проекты. А лучше отрезать от общественного стола свой маленький ящик, от общественного поля — свой маленький клочок и перенести в дом, во двор, чтобы, отгородив от посторонних глаз, обхаживать и лелеять.

В корне слова «собственность» — понятие «свой». И первое из чудес состоит в том, что она, оказывается, может быть не «своя», а ничья, общая: так сказать, белая ворона или черный снег. Не мы придумали это чудо из чудес, но немало поработали, чтобы все человечество стало таким коллективным чудотворцем, а пока, для примера и поучения — один, самый сказочный народ. Собственность все время изымалась из области «своего» и становилась как бы «инойственностью»: община или артель, сходка или колхоз, помещик или секретарь, управляющий или уполномоченный — все работало заодно, чтобы никто на себя не мог работать, чтобы любовь к труду была трепетной, чистой и безответной. Вот народ, вырастая из целомудренного детства, а все еще не допущенный к законному браку, и стал небрежлив, неразборчив, обзавелся вредными привычками. Единственная у тебя любовь или мимолетная, гениальные у тебя гены или алкогольные — все сварится в общем котле, склеится в студенистую продукцию вала: кубометрового, тоннажного, калорийного, в бесконечное дебильное дитя с «лица всеобщим вырождением». (Системными при такой системе бывают только заблуждения.)

Нет никаких внутренних обстоятельств: можно вкалывать не разгибаясь, а можно расколотить в сердцах лопату и законно предаться безделью, сну, отдыху, запою. Труд в охоту лишь для тех, кто пристрастился к нему уже необъяснимой, чудаковатой, почти болезненной привязанностью, как к наркотику: раз вдохнул — и уже не насытится. Как легко издеваться над такими беззачетными трудягами, влипшими в свой безнадежный, невознаграждающий предмет — все равно что втюрился в проститутку и пишет ей возвышенные стихи, а она гуляет со всей улицей. Пропадает забота и о плодах труда — важно то терпкое удовольствие и забвение, которое дает труд, а что там получилось, кто будет этим распоряжаться и пользоваться — не все ли равно? Сдаст она его, подзаборного, в депривацию, и ты его никогда не узнаешь, и он тебя. Ведь давно уже поставлено целью, чтобы труд в грядущем обществе стал «потребностью здорового организма» (читатель легко найдет том и страницу). А какие у организма здоровые потребности?

И так ли уж нужно думать о потомстве и воспитании?

Отсюда, при несгибаемом упорстве, замечательная бестолковость — огромное количество труда при ничтожестве результата, отсутствии явно преследуемой и достигнутой пользы. Толочь воду в ступе до онемения рук, чтобы она стала слаже от пролитого в нее пота, — это и есть бестолочь. Какой может быть толк в сооружении канала, вода которого иссыхает, не успев дотечь до назначенного поля; или в сооружении дамбы, встающей не столько поперек наводнения, сколько поперек отхожей воды, выносящей из города грязь и гниль? Вот и остается бешенство усилий, в которых заранее выкипает и испаряется всякий возможный результат, — забиться в процессе, помрачить работой ум, чтобы не глянул в него пустой и холодный завтрашний просвет.

Так вот и блуд безразличен к последствиям — он без разбору «берет», как труд — «отдает»: неважно от кого, неважно кому. Лишь бы кипело, разгоралось, пламенело в зареве великих строек, которым заведомо остаются недостроенными — памятником остановленному «прекрасному мгновению».

Вспомним, что принцип незаинтересованного труда не был так уж чужд и другим народам, в их высочайших умозрениях. В «Бхагавадгите» Кришна проповедует Арджуну: будь верен своему делу, отдавайся ему безраздельно, но не владей в зависимость от его результата. У Канта в «Критике способности суждения» такая деятельность без расчета на результат, находящая смысл и наслаждение в самой себе, названа игрой. Однако наш привычный труд-блуд, как ни соблазнительны эти параллели, имеет мало общего с индуистской этикой чистого долга и немецкой эстетикой бескорыстного наслаждения. Там человек не зависит от результата — здесь результат не зависит от человека. Там он освобождается от привязанности к продукту труда — здесь он мучительно привязан к своему процессу. Там он достигает бесстрастия в работе — здесь сама работа становится опьяняющей страстью. Иными словами, когда есть собственность как «наличное свое», от нее можно отказываться и преодолевать, достигая сверхличного в себе, восходя по ее же ступенькам на вершину «самого своего», «самого себя». Когда же своего нет в наличии и предпосылке, тогда происходит опускание ниже, в область внеличного, предличного, что человек ощущает как невладение самим собой. От своей вещи путь лежит к своей же душе, от не своей вещи (имущества, достоинства) — тоже к душе, но не своей, которая действует с одержимостью автомата, вонзающего клинья или клещи в какой-то поднесенный ему предмет. Про чело-

века тогда говорят, что он работает как заведенный, и в самом деле, характер отчужденной собственности определяет отчужденный характер труда, низведенного до уровня физиологической потребности — еще один инстинкт в ряду тех, которые заставляют паука ткать паутину, а самку — поедать самца. Между тем очевидно, что человек как раз освобожден изначально от труда как инстинкта, чтобы иметь волю к разумному его применению.

В «игре» и «долге» как раз и выявляются эти сверхинстинктивные основания труда, который освобождается от привязанности ко всему внешнему: человек сознательно распоряжается своими силами, целесообразно распределяет их, заботится о наилучших условиях игры и соблюдении ее правил — иными словами, становится зорче и трезвее, не ослепленный целью. Труд как блуд, напротив, есть удобная форма самоослепления — маниакальная потребность что-то делать, чем-то занять себя — метод поспешной саморастраты. Человек собой не владеет — он одержим бесом труда: «рубит, колет, режет», «жарит, шинкует и перчит»... Чем больше ручного, изнуряющего труда, тем легче забыться, отогнать навязчивые мысли о смерти, скоротать томительный избыток времени. Так Базаров у Тургенева отдается «лихорадке работы» после неудачи с Одинцовой; так Дарья у Некрасова неистово колет дрова, чтобы притупить боль об умершем муже. Но это блуд и запой труда, объяснимый частной психологической ситуацией. Если же вспомнить, как работают персонажи у М. Горького («В людях», «Дело Артамоновых»), у А. Платонова («Котлован», «Ювенильное море»), то проясняются устойчивые основы таких ситуаций в жизни целого народа: уйти от одуряющей пустоты — в работу до одуренья. В этой поглощенности процессом труда, в этом хмельном и страшном веселье есть какая-то мрачная исступленность, как будто люди подбрасывают поленья в адский огонь, где горит их душа, — ничего от строгой сосредоточенности Арджунны и самоцельной игры способностей у Канта. Цель — что-то изломать и задушить в себе, «наступить на горло собственной песне». Кто-то, как Треплев, убивает себя выстрелом. Кто-то, как Войницкий, убивает себя делом. Иногда человек хочет убить себя выстрелом, но этого кажется ему недостаточно — и он убивает себя делом, как Корчагин. Иногда человек убивает себя делом, но этого оказывается недостаточно, и он убивает себя выстрелом, как Маяковский.

Блуд почти безразличен к качествам партнера — лишь бы, как определяет Федор Павлович Карамазов, обладала признаками пола. Так и блуд труда безразличен к предмету — лишь бы можно было в него внедряться, обрабатывать, рассчитывать в нем себя. Ведь сам такой труд выступает как замена чего-то более

подлинного, поэтому и внутри него все заменимо, и прежде всего сам труженик. «Незаменимых нет» — эта мораль ворвалась в нашу общественную жизнь словно из обихода публичного дома, но легкая шутка перешла в мрачную угрозу и торжественное заклинанье. И конечно, простое вещество выступает как самый удобный алгебраический «икс» для всякого рода замещений — равно безрадостных и беспечальных. Вспомним инженера Прушевского из «Котлована» — не имея любимой женщины, он хочет вновь и вновь расходовать свое никому не нужное тело на трудовые нужды страны, на «чужой прок», отдаваясь холодной и ленивой ласке строительного вещества. «Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушные ясной мысли, близкое к наслаждению... Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги». Равнодушие, близкое к наслаждению, или наслаждение, близкое к равнодушию, — это и есть точнейшая формула блуда.

И не обязательно, конечно, чтобы предмет труда заменял именно тело подруги, он может заменять любой предмет любого труда, если сами предметы оказываются взаимозаменяемыми и наслаждение ими совмещается с равнодушием к их единственному существу. Можно командовать взводом, строить железную дорогу, руководить идеологическим сектором, писать автобиографический роман. Можно «работать» эпические поэмы и коммерческие рекламы. Можно стрелять контору, полоть морковку, дергать сиськи у коровы, лишь бы служить партии, как определяет Макар Нагульнов.

Блуд труда оказывается выражением какой-то высшей верности — идее, идеалу. Вещь исковеркать похабным употреблением можно — идее изменить нельзя. Детей, стариков «в распыл пускать» можно, тем более корове «сиськи оттягать», — но мировой революции, ради которой все это делается, нельзя недотать любовного пылу: во всякой случайной связи и даже насилии должны сиять, звать и томить ее голубые глаза. Роскошная революционная женщина Роза Люксембург водит комиссара Копенкина по дорогам гражданской войны, мысленно обещая ему за все кровопролития любовный коммунистический рай («Чевенгур»).

Блуд очень легко соединяется с верностью через понятие мании: кто привержен чему-то одному, готов все перепробовать, перещупать, чтобы это одно получить. Дон Жуан безраздельно привязан к женщинам — и именно поэтому изменяет одной за другой. Трудоблудие освящается верностью идее труда. Поскольку «труд создал человека», поскольку «будущее принадлежит людям труда», постольку нужно трудиться (3 раза) — там, куда пошлет, так, как прикажет

партия «людей труда». И Труд настолько славен и почетен сам по себе, как само по себе обладание женщиной славно и почетно в глазах блудодея. Из всех видов и возможностей труда извлекается абстрактная идея Труда как такового — высшего и требовательного смысла жизни. И потом уже этот всеобъемлющий Принцип развинченной походкой блуждает среди всех конкретных разновидностей труда: каждую оплодотворить — и двинуться дальше. Номенклатурный работник, посылаемый по разнарядке то на сельское хозяйство, то на агитпром, то на агропром, то на образование и культуру, — это своего рода гуляка праздный, всю жизнь бредущий по злачной улице с заведениями налево и направо. Да нет, почему гуляка? если уж он совсем номенклатурный, то держатель гарема, потому что одновременно решает все указанные вопросы, не выходя из своего рабочего кабинета с раскинувшимся посередине роскошным ложем циркулярного стола. До уличных забав он себя не унижит, потому что и сельское хозяйство, и образование с культурой сами покорно являются к нему в опочивальню по первому звонку, и список очередности заранее составлен услужливым евнухом, который, в качестве хранителя укромнейших прихотей и секретных услад, так и называется секретарем.

Можно предположить, что все это стирание индивидуальных различий: в отношении труда к собственности, и к предмету, и к отрасли, и к вознаграждению — есть только ретивая выдумка всяких Нагульновых, привыкших к пальбе и гульбе вместо твердого расчета. Дескать, это все дань упрощенчеству, отход от начальной строгой линии, искажение, искривление, извращение мудрых заветов и основоположений. Но вчитаемся в самый авторитетный источник, какой только возможен, — причем сам автор подчеркивает принципиальность своего утверждения, его всеобщий и обязательный характер:

«... Коммунизм, если брать это слово в строгом значении, есть безвозмездная работа на общественную пользу, не учитывающая индивидуальных различий, стирающая всякое воспоминание о бытовых предрассудках, стирающая косность, привычки, разницу между отдельными отраслями работы, разницу в размере вознаграждения за труд и т. п.» («Политический доклад ЦК 2 декабря. VIII Всероссийская конференция

¹ Приведу по памяти куплеты, чуть ли не каждый день распевавшиеся по радио, въевшиеся в сознание: «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы! Труд наш есть дело чести, Есть дело доблести и подвиг славы. К станку ли ты склоняешься, В забой ли ты спускаешься, — Мечта прекрасная, Как Солнце ясная, Зовет, зовет тебя вперед. Нам нет преград ни в море ни на суше. Нам не страшны ни льды ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века!» Вот она, патетика Принципа, его разгоряченное воображение.

РКП(б) 2—4 декабря 1919 г., ПСС, т. 39, с. 360).

Разве не строгое определение? Уж куда строже — прямо по пунктам перечислены характерные признаки блуда-труда: все равно кто, все равно с кем, все равно за что. Не учитывать индивидуальные различия, стереть разницу между отраслями и не рассчитывать на взаимность. Но есть еще и поразительно точные слова из более широкого контекста — не узко-производственного, но как бы семейно-бытового: о предрассудках, косности, привычках. Мандельштамова метафора здесь уже дрожит на кончике пера. Дескать, были когда-то «предрассудки», привязывавшие человека к чему-то единственному и любимому, была «косность», не позволявшая стереть различий между этой и той (отраслями?), была «привычка» к вознаграждению, надежда на взаимность... И вот весь этот семейный уют, погрязший в индивидуалистических предрассудках, должен уступить трудовому сожительству с общественной пользой, без всяких различий, привычек и воспоминаний.

Кто кого упрощает? И разве не сводится труд таким смелым порывом в будущее к работе раба или робота, чему-то худшему, чем само блудодейство, — потому что даже «вознаграждение» есть момент индивидуальный и человеческий, а механический молот или фаллос и впрямь трудится «безвозмездно»? Вспомним медведя-молотобойца — образцового пролетария из «Котлована»: вот кто удовлетворяет вышеприведенному определению в самом строгом смысле. Да и то не вполне — требует еды и водки, а значит, бескорыстен лишь частично. Может быть, он первым и придет к коммунистическому труду, как древнее тотемическое олицетворение своей страны, прямо шагающей из первично-общинного строя в окончательно-общинный?

Труд может стать прекраснейшим средством самоупрощения, истинной потребностью отчаявшейся души. В тесноте общения с вещью — овеществиться самому, забыть свою мучительную человечность. Слишком часто труд — это только бегство от свободы, которая назойливо оставляет человека наедине с собой, со своей совестью. А с простой, осязаемой вещью, которая ничего не хочет, кроме сильных рук, — долой самосознание: мир прост, как соблазн, душа проста, как желание. Будем «беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания» (Платонов). Блуд — средство избавиться от неудачной или невозможной любви: душа не выносит долгого напряжения и сдается на милость первому телесному зуду. Быть полезным, быть мужественным, ощутить свою насущность первым попавшимся способом — вот что называется трудовым подвигом: кинуться в любой прорыв, любую дыру заткнуть собой.

Как-то у нас само собой совмещается: «труд и творчество», «творчество и труд». А ведь тяга к труду может быть от творческой несостоятельности, от бессилия фантазии, от импотенции своего рода — неспособности любить. Случайно ли, что все тоталитарные режимы восхваляют труд как первейшую добродетель и выставляют гражданским идеалом прилежного работника? Он безопасен, потому что работает в поте лица и не отрывает взгляда от земли. В корень слова «работа» вписано слово «раб». Человек стал рабом греха — и потому работником на земле: можно ли проклятию выдавать за добродетель? Свобода, если поискать ее первоначального смысла, — это вовсе не «освобожденный труд», а освобождение от труда. Сколько издевались у нас над евангельскими словами: «птицы небесные не сеют, не жнут...» — образом человека, испугленного от греха!

И техника постепенно освобождает человека от трудового проклятия, сближает труд с мечтой, полетом, духовным деланием, опрозрачивает материальный мир изливанием помыслов и фантазий. Но трудолюбие враждебно технике, как разврат — романтике. Блуд слишком привязан к плоти, к вязкому, душному, смертному в ней. Лучше неделю собирать картошку руками, чем один час — уборочной машиной. И люди, склоняясь к земле, чаще вспоминают, что они рабы. Разум, конечно, отдает предпочтение машине, но душа просит надрыва, мозолей, сухого трения о поверхность вещей, чтобы возбуждать и глушить себя этим зудом, бесовской щекоткой, от которой сладко ломит тело.

Там, где блудливый труд, — много наспех сделанных, скорее испорченных, чем облагороженных вещей. Нетерпеливо растерзанных, торопливо брошенных. Блудодей берет от них то, что ему надо, — сминает плоть, гонит вал. Не озабоченный смыслом и мерой самого предмета — кроит, а точнее, кромсает все по одной мерке. Не таков ли блудливый характер всей нашей промышленности, которая гонит массу несработанных, полуразрушенных вещей? Сколько у нас необъявленных маркизов де Садов, наворотивших горы трупов в своих феодальных замках со станками сладострастного истязания для безгласных жертв: чистых руд и металлов, непорочных горных и древесных пород! О чудовищных пытках можно догадаться по следам повсеместного безобразия на лицах наших прекрасных городов и сел, по разорванному узорному плату полей и лесов, по рытвинам и ухабам на теле изможденной земли. То, что стояло, давно согнулось в три погибели, то, что лежало, поднято на дыбы, то, что имело части, стало сплошным целым на бескрайних трупохранилищах, именуемых уважительно складами или небрежительно свалками, но скрывающих примерно одно и то же.

Техника — давно уже пройденный этап, оставленный для любопытных малолеток, жадно мусолящих страницы затрепанных пособий: как это делается, с какой стороны подступаться? Изюм всех наук осталась одна арифметика: не как, а сколько — перещупать, перекопать, понастроить. Остановиться нельзя — можно так и застыть посреди строительной площадки, превращенной в мусоросборник, и впасть в черную меланхолию. Спасает только неистовость порчи, сквозных червивых ходов, проложенных через сердцевину самого прекрасного, девственного вещества, которого всегда хватает в заневестившейся стране: сколько угля, сколько нефти, сколько газу — и все зажалось, томится, перерезает в своих тайных недрах. Разрыть, откопать, внедриться! А дальше — пусть небо греется нашим дымом, пусть соседи завистливо втягивают ноздрями насыщенный промышленный запах нашей окружающей среды. Сладок дым Отечества, когда вольно гуляет по всему поднебесью!

Профессионал, берясь за ремесло, как бы вступает с ним в законный брак, посвящает ему себя без остатка. Собственно, профессионализм — это и есть мистериальная посвященность, связанность неразрывными узами с миром вещества, мученический и счастливый брачный венец, таинство «единой плоти» человека и вещи. Любое изделие скреплено печатью любви, как плод долгого претерпевания и взаимного узнавания, нерушимого обета верности. Куда делось, во что вылилось это великое качество компетентности? В приложение к одному-единственному слову «органы», которые и впрямь всюду обнаруживают потенциальную всепроникающую способность. Дилетантизм спорадичен, спонтанен — всюду рассеивает свои споры, перебрасывается с вещи на вещь, без методики, без привязанности, без обязательств. Не заводит семьи, не выращивает детей, но ускоренно тратит семейный фонд человечества. Он, любимый наш герой, любовник труда — на все руки мастер, словно у него тысяча рук: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Наша социальная мечта — всесторонне развитая личность, шьющая, как Москвошвей, жнущая, как колхоз, играющая, как духовой оркестр. И каждая рука творит чудеса: небывалые покрои, небывалые урожаи, небывалые напевы — лагерники в лохмотьях, голодающие кормильцы и мертвая тишина, в которой скрежещет один гортанный голос.

«Блуд труда» — это ныне называется экстенсивным способом хозяйствования: скорее осваивать новые земли, строить новые заводы, не заканчивая начатого, работая порывами и урывками, авралами и абордажами, как встречаться с первыми встречными, без уговоров и прощаний. Можно пожурить с высшей точки зрения — и призвать к интенсивности, к глубине. Но чтобы двинуться в глубину, нужно поставить себе границы; а ши-

рота вокруг так уже призывно разлеглась-распласталась, что ноги сами просят идти все дальше и дальше, «все разрушая рубежи». Пресловутая широта наша — не та же ли размашистость блуда, включая блуд с пространством, с землей? Да и что такое эта огромная, невпроворот для жилья и освоения территория, как не блуд экспансии, которая перебирает край за краем, версту за верстой, не в силах остановиться и границу свою очертить, прочный дом свой построить. Что границы — игра в классики, легкий перепрыг туда-назад, когда у нас повсюду родной дом и бесконечный путь класса к самому себе, в свои законные владения! Сама равнинная земля, раскинутая навзничь на все стороны, — прообраз легкости наших трудовых отношений, ведь «блуд» прямо и значит не что иное, как «блуждание»: шаткость, качание, неоседлость. Вот что сказало в раздолье души, которая ни к чему прирастает, ни на чем остановиться не может и потому грезит обо всем свете. Блуд — психологическое кочевье, которое, возможно, выработалось от географического, когда хлынули и размыли Древнюю Русь кочевые племена и народы. «И он у нас в крови» — не той ли самой, что широким потоком, потоком влилась в русские жилы в пору степного нашествия и дальше разливалась безбрежно, безбожно, всеми бунтами и бунтарями, шедшими от низовьев Волги, от старых гнездовищ Золотой Орды, которая по ходу веков краснела от пролитой в землю и ударяющей в голову крови?

Бывает, что передовой отряд, попав на чужую территорию, не может с нее выбраться, остается в окружении и гибнет. Так мы не можем выбраться из окружения своей, она цепко нас держит, предопределяя весь блудный, кочевный дух исторического существования. Развратно одному человеку иметь десять жен, — так развратно одному государству иметь территорию, которой хватило бы для десятиерых. Владеем большим, чем нуждаемся, — поэтому работаем хуже, чем можем.

И вот — последняя стадия... То чужое, что присвоили себе, но не сумели освоить, теперь исподволь, из-под полы, распродается на сторону. Эта держава, простершая ноги на Сибирь, а локтем возлегшая на Кавказ (горделивый ломоносовский образ), слишком велика своими недрами для владеющего ею государства-самодержца. И он, совершая блуд с ней посредством безлюбивного труда, одновременно сутенерски распоряжается ею посредством торговли. Не похитив чужого, не начнешь расхищать своего. Сутенерство — высшая и последняя стадия блуда, когда освобождаешься не только от нравственных обязательств, но и от физической страсти к женщине: интимная связь, лишенная малейшей интимности, столь же регулярная и законообразная, как супружеская, только с обратным знаком. И это

психологически понятно: блуд все время упирается во что-то «не свое», чем он не может овладеть, — и отсюда соблазн избавиться, отдать в чужие руки, но уже не даром — прийти на мировую толкучку и сбить товар, который жжет руки. И покупают, хотя и видят, что на продавце шапка горит. Блуд в производстве ведет к сутенерству в торговле, когда в оборот пускаются не готовые изделия, а даровое сырье, необработанная, не востребованная плоть земли. Зачем своей рабочей силой торговать, когда у нас товар под боком лежит, к спине привалился! Распродаются недра возлюбленной — или разлюбленной? — родины, вывозятся на потребу дальней, расчленимой промышленной похоти. И в самом деле: чем безлюбиво и постыло вторгаться в развороченные трудом-развратом недра, не лучше ли запродавать их богатому ворониле, который выкачает из обильной земли все, что возможно, — и заплатит за нее с лихвой. Пусть, опустевшая, спит рядом, отсыпается до смерти. Чем жить с нею, не имея пыла и сил, лучше жить за ее счет.

Так далеко ведет мандельштамовская метафора, в самые укромные уголки и постыдные тайны государственного сожительства со своей землей.

Напоследок нельзя не вспомнить, что метафора эта под пикантным соусом уже была заготовлена социальной «наукой», прежде чем самой науке теперь предстоит ее расхлебывать. Начиная от древних социалистических учений и кончая научнейшим социализмом, всюду в эти миропланирующие проекты обобществление собственности дополнялось обобществлением жен. Нет, социализм не предполагает ни лени, ни воздержания, как заявляют его клеветники, — но всего лишь такую трудовую и половую активность, которая не притязала бы на частное владение своими плодами и предоставляла бы их в мудрое распоряжение всего государства. Все должны трудиться на всех — и в домах, и в домах. Так что Мандельштам ничего нового по сути и не сказал. Общественная собственность на средства производства вещей и воспроизводства людей уже предполагается и освещается тот ритуальный блуд, каким становится труд без института частной собственности и супружества без института семьи и брака. Метафора — не выдумка, а правда осуществленной утопии, где общественное производство и всеобщее супружество должны органически дополнять друг друга, как взаимный образец и место передового опыта.

Но — должны идти рядом, вместе, нога в ногу: труд и блуд, блуд и труд. А метафора их скрещивает и опять-таки научно объясняет, почему этим утопическим проектам суждено было воплотиться лишь отчасти. В производстве — да, в супружестве — нет. Именно потому, что священный блуд, который предполагался в замену домашнего рабства, с возрастающим

размахом воплотился в общественном производстве. Сам труд стал блудливым — и тут уже стало не до блуда. С такой яростью вливалась похоть общественного сожительства в хозяйственный процесс, что для прочих смещений не оставалось сил и потребностей — все съедали безоглядный труд и его беспризорные порождения. Блуд с вещами настолько расшатывал нервную систему индивида и удовлетворял растущим потребностям совместного пользования и обладания, что отбивал охоту ко всякому другому блуду.

Больше того, сама любовная сфера стала в какой-то мере поприщем настоящей трудовой дисциплины, героического самообуздания — вобрала те качества «буржуазной», «протестантской» этики, которые исчезли из сферы собственно производственной. Самоотверженный герой разбрасывался по всем видам и направлениям труда, чтобы утолить кипение своей крови, жаждущей разлиться по жилам сверхмощного, сверхтребовательного государства. Жены могли не бояться соперниц, потому что мужья сгорали и истощались совсем в другом, необъятно-вместительном лоне, где у них тоже не было соперников, а только напарники и партнеры.

Экономико-эротическая метафора Мандельштама очерчивает со сплетенных двух сфер, которое ускользает от политической экономии, потому что неведомо прежним цивилизациям. Пожалуй, впервые в истории хозяйственный организм столь глубоко пронизан духом оргии, именуемой всенародным энтузиазмом. «Берегись, хватай, качай, держи, даешь, ударим, выдадим!» И тогда по-новому просматриваются фигуры организаторов этих оргий, бессменных затравщиков, застрельщиков, героев и корифеев — профторгов, группоргов, комсоргов, партторгов, культуроргов. От их бесчисленных заседаний, собраний, совещаний и слетов веет знакомым духом застарелого распутства, ритуального всесмешения и всеподмены, которое лишь в лучшем случае ограничивается словоблудием — оральным сексом, но часто переходит и в состязание другого рода: кто поставил больше галочек, одержал больше побед, больше наворотил, сокрушил, разделал, задвинул, вогнал. Узнаются жесты подворотен, мимика кутежей, о которых вроде и знаешь только понаслышке. В жизни где они? — да вот, на трибуне! Профсоюзная организация! Комсомольская организация! Пионерская организация! Но впереди, конечно, та, что, вопреки названию, уже не сидит за партией, а водит указкой по стране. И тогда, в бурливом обществе всех этих «профторгов» и «комсоргов», само слово «организация» вспоминает свой забытый корень: «оргия».

1980

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА ПЕРЕД СУДОМ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Павел Иванович Новгородцев (1863—1924) — выдающийся русский философ и правовед. Будучи профессором Московского университета, одновременно с проф. кн. Е. Н. Трубецким он, с одной стороны, продолжил традицию Б. Н. Чичерина, а с другой, сам стал родоначальником своеобразной школы правовой мысли. В числе учеников П. И. Новгородцева были такие замечательные мыслители, как И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, Н. Н. Алексеев. Эта школа русских юристов отличалась тем, что ее представители подходили к вопросам права и правосознания с позиций высокой философской культуры, а зачастую сами становились творцами оригинальных философских учений (Трубецкой, Ильин, Вышеславцев). Другая отличительная черта школы — признание религиозной, духовной основы правосознания: «... весь мир переживает в наши дни величайший кризис правосознания, — писал Новгородцев после революции. — И самое важное и основное в этом кризисе есть то, что это — кризис неверия, кризис культуры, оторвавшейся от религии, кризис государства, отринувшего связь с Церковью, кризис закона человеческого, отказавшегося от родства с законом Божеским».

Надо сказать, что Новгородцев не сразу пришел к осознанию религиозной природы человеческой духовности. Он начинал свое творчество под знаменем трансцендентального идеализма кантианского толка и лишь к концу жизни пришел к прямому исповеданию религиозных начал. При этом Новгородцев принадлежал к той плеяде выдающихся русских мыслителей, которые составили новое философское и политическое движение — «веховство». Это были первые ростки новой, национальной и религиозно просвещенной русской интеллигенции, перешедшей с позиций государственного отщепенства на позиции положительного государственного строительства.

Эта веховская интеллигенция не могла признать большевиков национальной властью (что нередко проделывают сейчас, узурпируя веховскую мысль и приделывая ее к черносотенным идеям). Для нее большевики — разрушители национальной России, отвергнувшие и погубившие ее духовные святыни и исторические корни и связи. Отсюда и главная мысль Новгородцева: возрождение России возможно только как религиозное, национальное и государственное. Эта формула была выработана не только Новгородцевым, но и Струве, а потом Франком, Ильиным и другими. Она напрямую соотносилась со старой российской идеологией — «православие, самодержавие, народность». Правда, не все веховцы от православия и народности перешли к третьему логическому члену тройственной формулы — к самодержавию. Но все же и Новгородцев, и Струве, и Франк, и И. Ильин, и многие другие признавали тот неизбежный факт, что только творческое восстановление монархии в России сможет обеспечить русскому народу действительное духовное возрождение и полноценное бытие в семье народов мира.

П. И. Новгородцев видел, что у русского народа есть силы для духовного возрождения, но он видел и невероятные трудности такого возрождения, о которых уже через несколько лет после революции предупреждал своих духовных наследников: «В задаче «восстановления святынь», которая предстоит сейчас русским людям, особенно важно понять, что речь идет тут не о воскрешении каких-либо внешних форм жизни или быта, а о возрождении душ, о религиозно-нравственном возрождении. Необходимо понять, что для создания новой России нужны новые духовные силы, нужны воспрянувшие к новому свету души».

Русскому человеку в грядущие годы потребуются героические подвижнические усилия для того, чтобы жить

и действовать в разрушенной и откинутой на несколько веков назад стране. Ему придется жить не только среди величайших материальных опустошений своей родины, но и среди ужасного развала всех ее культурных, общественных и бытовых основ. Революция оставит за собой глубочайшие разрушения не только во внешних условиях, но и в человеческих душах. Среди этого всеобщего разрушения лишь с великим трудом будут пробиваться всходы новой жизни, не уничтоженные сокрушительным вихрем жестоких испытаний. Тлетворное дыхание большевизма всюду оставит следы разложения и распада. И новый дух, закаленный в этой страшной борьбе, с величайшим трудом будет овладевать распавшимися элементами общей жизни. Придется действовать в условиях ужасных и первобытных, и сколько раз у новых сеятелей «разумного, доброго, вечного» будут опускаться руки при виде этого необозримого поля, на котором новая жизнь зачинается среди мертвых костей. Но более того: новые всходы, которые будут пробиваться на новой земле, не всегда будут только добрыми и животворными, произрастающими на благо для всех; нередко они будут являть картину неукротимого стремления и буйного роста, утеснительного и пагубного для окружающих. Сколько новых темных чувств не заглухнувшей стихии опять проявятся! сколько натворит новых бед суровая страсть порядка и покоя! сколько тяжелых этапов пройдет и могучая потребность хозяйственного восстановления с ее неукротимыми инстинктами приобретения и накопления! Потребуется наивысшая сила света и разума, чтобы светить и просвещать в этих новых бесконечно трудных условиях; потребуется величайшее напряжение верующего сознания, чтобы видеть впереди спасительный исход». («Путь» № 4, 1926 г.)

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

«ИЗ ГЛУБИНЫ. СБОРНИК СТАТЕЙ
О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»*

ПАВЕЛ НОВГОРОДЦЕВ

О ПУТЯХ И ЗАДАЧАХ
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

1

В 1909 г. появился сборник статей о русской интеллигенции под заглавием «Вехи». Участники этого сборника писали свои статьи, как они высказывали это в предисловии к сборнику, не с высокомерным презрением к прошлому русской интеллигенции, а «с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны». Они хотели призвать русскую интеллигенцию к пересмотру тех верований, которыми она до того жила, которые привели ее к великим разочарованиям 1905 г. и которые, как предвидели они, должны были привести к еще более тягостным разочарованиям в будущем. Сами видные представители русской интеллигенции, они не ставили себе целью отвратить интеллигенцию от присущей ей задачи сознательного строительства жизни. Они не звали ее ни к отказу от работы творческого сознания, ни к отречению от веры в свое жизненное призвание. Они хотели лишь указать, что путь, по которому шло до сих пор господствующее течение русской интеллигенции, есть неправильный и гибельный путь, и что для нее возможен и необходим иной путь, к которому ее давно призывали ее величайшие представители, как Чаадаев, Достоевский, Влад. Соловьев. Если вместо этого она избрала в свои руководители Бакунина и Чернышевского, Лаврова и Михайловского, это великое несчастье и самой интеллигенции, и нашей родины. Ибо это есть путь отпадения, отщепенства от положительных начал жизни. Разорвать с этой традицией, ведущей к бездне и гибели, вернуться к объективным ос-

новам истории — вот задача, которую русская интеллигенция должна себе поставить. Те два пути, которые открываются перед нею, отличаются между собой, как пути жизни и смерти. Надо сделать выбор; с этим связана и судьба России. Таковы были выводы сборника «Вехи».

Что же ответила на эти вещи призывы русская интеллигенция? К сожалению, приходится засвидетельствовать, что ее ответом было единодушное осуждение того круга мыслей, который принесли «Вехи». Интеллигенции нечего пересматривать и нечего менять — таков был общий голос критики: она должна продолжать свою работу, ни от чего не отказываясь и твердо имея в виду свою цель. Все сошлись на том, что общее направление «Вех» явилось порождением реакции, последствием уныния и усталости. Но нигде, быть может, общее мнение о «Вехах» не было выражено с такой резкой отчетливостью, как в одной из статей столь тонкого критика, каким следует признать проф. Виппера. По обыкновению историка ища примеров в прошлом, проф. Виппер находит еще в Древней Греции полное соответствие с нашим расколом в интеллигентской среде. «Два типа интеллигенции, которые отмечены современными нам судьями ее, даны уже там за 2400 лет до нашего времени: одной, которая зажигает светоч знания для всех и отдает свои силы делу необозримой массы безвестных работников жизни, и другой, которая прячет свою струйку света только для себя, только для самоусовершенствования, только для выработки внутренних сокровищ своей души. Сколько раз ни повторялась в истории культурного общества эта смена двух интеллигенций, повторялось и еще одно явление, которое мы только что пережили у себя. Интеллигенция второго типа, появившись на сцене после разгрома пер-

вой . . . принималась проклинать своих предшественников, осмеивать их, объявлять их дело безбожным и разрушительным». И в качестве практического заключения, проф. Виппер повторял то, что в то время говорили столь многие: «Наша великая страна во многом глубоко несчастлива, но одно в ней здорово, сильно и обещает выход и освобождение — это мысль и порыв ее интеллигенции».¹

Не будем говорить о том, насколько правильна сделанная здесь характеристика двух типов интеллигенции в применении к Древней Греции и насколько образы Сократа и Платона вмещаются в рамки, данные проф. Виппером. Нас интересует здесь другое: каким образом «жгучая тревога за будущее родной страны», которая руководила сотрудниками «Вех», могла быть принята за желание «спрятать свою струйку света только для себя, только для самоусовершенствования». И как могло случиться, что после тех сильных и жестоких ударов, которые нанесены были «Вехами» самоуверенности интеллигентского сознания, проф. Виппер мог утверждать, что в нашей великой и несчастливой стране сильными и здоровыми являются только мысль и порыв нашей интеллигенции.

Обдумывая эти вопросы, я должен сказать, что в данном случае мы имеем дело с очевидным недоразумением, и притом не только со стороны проф. Виппера. И участники «Вех» некоторыми своими разногласиями были повинны в том, что их стремления истолковали столь неправильно, что их, пламенных патриотов, зачислили в разряд ревнителей доктрины личного самоусовершенствования. Достаточно прочесть статью П. Б. Струве, чтобы понять, что самое горячее его стремление — найти но-

* В 4 и 5 номерах опубликованы вступительная статья и статьи П. Струве и С. Франка.

¹ Проф. Р. Виппер. «Две интеллигенции и другие очерки». М., 1912, стр. 24—25.

вые пути политики, открыть более правильные и прочные приемы общественного строительства. Но, просматривая статью г. Гершензона, мы готовы допустить, что у проф. Вилпера были известные данные для его заключений, что в этой статье действительно можно найти основания для того, чтобы протестовать против психологии индивидуализма, вытекающей из потревоженного в своем единении морального или эстетического чувства. И когда тот же г. Гершензон в предисловии к «Вехам» говорил о «первенстве духовной жизни над внешними формами общежития», когда он утверждал, выдавая это за общее убеждение авторов «Вех», что «внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия, и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства», тут было более чем недоразумение: в этих немногих словах несомненно заключается и значительная доза того самого отщепенства, отчуждения от государства, которое П. Б. Струве осуждает в «Вехам», как основной грех русской интеллигенции. Противопоставлять духовную жизнь личности внешним формам общежития и самодовлеющим началам политического порядка — это значит с другого конца повторять ту самую ошибку, в которую впадают проповедники всемогущества политических форм. Самодовлеющих начал политического порядка в действительности не существует: их можно мыслить таковыми только в отвлечении. И те, кто о них говорит, для того ли, чтобы возвеличить их значение, или для того, чтобы противопоставить им единственно прочный базис внутренней жизни личности, оказываются одинаково неправыми, ибо они одинаково погрешают против той элементарной истины государственной науки, что общественные формы жизни оставляют лишь часть духовной жизни личности, ее символ и результат.

Но в утверждениях, высказанных некоторыми из участников «Вех», были и другие недоразумения, которые невольно вызвали справедливые возражения и нарекания. В «Вехах» постоянно говорится о грехах и заблуждениях **русской** интеллигенции, и в характеристике ее путей и стремлений сотрудники сборника обнаруживают большую критическую проницательность; но они не ставят, однако, естественного и неизбежного вопроса: только ли русская интеллигенция повинна в уклонении от правильного пути? Крушение ее идеалов не есть ли частный случай общего кризиса интеллигентского сознания, которое всегда и везде при подобных условиях приходит к тем же результатам и кончает тем же крахом своих надежд и упований? По знаменатель-

ному стечению обстоятельств пять лет спустя после того, как появились русские «Вехи», во Франции вышли в свет свои французские «Вехи»: я имею в виду книгу Эдуарда Берта «Les méfaits des intellectuels» * с обширным предисловием Жоржа Сореля (1914 г.). Как в наших «Вехах», так и здесь авторами явились бывшие видные представители социализма, сами пережившие все увлечение интеллигентского сознания и познавшие всю его тщету и недостаточность. Требование Сореля от Декарта обратиться к Паскалю, подобно соответствующим лозунгам Струве и Булгакова, также намечает два русла в сознании французской мысли — одно, идущее от рационалистического корня, другое — от мистического. Как в русских «Вехах», так и во французских рационалистическое течение интеллигентского сознания резко осуждается и выдвигается совершенно иное духовное направление с новыми исходными точками зрения.

Но, если подобные сдвиги и переломы интеллигентского сознания представляют собою явление общее, а не специально-русское, нельзя ли найти какое-либо более широкое определение для того направления интеллигентской мысли, которое вообще и всегда приводит ее к крушению? И нельзя ли указать более точное разграничение между различными течениями в интеллигенции? Не ответив на эти вопросы, мы рискуем придать всему нашему рассуждению публицистический характер, связать его с временными затруднениями и разочарованиями, вместо того, чтобы возвести его к некоторой общей философской основе. Мы рискуем также и утратить руководящую нить для того, чтобы знать, какую именно интеллигенцию мы осуждаем и за что мы ее осуждаем. Участники «Вех», ведущие свою генеалогию от Чаадаева, Достоевского и Влад. Соловьева, столь же законно могут быть рассматриваемы в качестве представителей одного из течений русской интеллигенции, как их противники считаются представителями другого течения, связывающего себя общей традицией с Бакуниным и Чернышевским, Лавровым и Михайловским. Где же лежит разграничительная линия? И какой именно путь интеллигентского сознания необходимо признать неправильным и гибельным?

В статье П. Б. Струве, как кажется мне, всего точнее указано то основное свойство интеллигентского сознания, которое составляет причину его крушения. Это свойство заключается в безрелигиозном отщепенстве от государства. Выразив эту мысль в привычных формулах философского словоупотребления, мы должны бу-

* Преступления интеллигентов (фр. Прим. ред.)

дем сказать, что основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объемных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия. Если высшей основой и святыней жизни является религия, т. е. связь человека с Богом, связь личного сознания с объективным и всеобщим законом добра, как с законом Божиим, то рационалистический утопизм есть отрицание этой связи, есть отпадение или отщепенство человеческого разума от разума Божественного. И в этом смысле кризис интеллигентского сознания есть не русское только, а всемирно-историческое явление. Поскольку разум человеческий, увлекаясь силою своего движения, приходит к самоуверенному сознанию, что он может перестроить жизнь по-своему и силой человеческой мысли привести ее к безусловному совершенству, он впадает в утопизм, в безрелигиозное отщепенство и самопревознесение. Движение сознания, критикующее старые устои и вопрошающее о правде установленного и существующего, есть необходимое проявление мысли и великий залог прогресса. В истории человеческого развития оно представляет собою момент динамический, ведущий сознание к новым и высшим определениям. Значение критической мысли в этом отношении велико и бесспорно. Но когда, увлекаемая своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю действительность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть силой созидательной и прогрессивной, она становится началом разрушительным и революционным. Тогда сбывается евангельское слово о соли, потерявшей свою силу: «Вы соль земли: если же соль потеряет свою силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, на погребение людям».

Когда Сократ и Платон нападали на софистов за их безбожное и разрушительное дело, они имели в виду именно это отпадение разума человеческого от его вечной и универсальной основы. Сами они были также носителями критической мысли и также подвергали своему суду существующее и установленное. Но они совершали этот суд в сознании высшего божественного порядка, господствующего в мире, связующего «небо и землю, людей и богов». В противоположность этому просветительная деятельность софистов представляет собою классический пример утопического сознания, стремящегося построить и философию, и жизнь на

началах рационалистического субъективизма. В области философии эти стремления приводят к релятивизму и скептицизму, что составляет кризис философского сознания. В области общественной жизни они ведут к отщепенству и самопревознесению, к отрыву индивидуального сознания от объективных начал истории, что влечет за собою кризис общественности. Право и государство, утверждали софисты, существуют не от природы, а по человеческому установлению, и потому весь общественный порядок — дело человеческого искусства. Человек сильный может разорвать все связи общественные, может отринуть все чары и заклинания, которыми его удерживают в общем строе, и создать для себя свою собственную справедливость. Так индивидуальный разум человека объявляется всемогущим и самодовлеющим, и нет над ним никакой высшей силы, перед которой он мог бы преклониться. Крушение софистов есть один из самых ярких примеров кризиса такого интеллигентского самопревознесения, а борьба с софистами Сократа и Платона есть величайший образец восстания религиозно-философского сознания против интеллигентского утопизма. Неудивительно, если позитивно-рационалистическая мысль наших дней, возвеличивая просветительную деятельность софистов, стремится представить Сократа и Платона под видом реакционеров. Сошлюсь для примера на изображение школы Сократа у Белоха в его «Истории Греции». Для тех, кто видит прогресс в создании нового, оторванного от старого, в разрушительной рационалистической критике, в опытах полного переустройства жизни, конечно, реформаторская проповедь Сократовой школы есть только реакция. Но есть и другое понимание прогресса, основанное на стремлении к сохранению связи веков и поколений. Согласно этому взгляду, прогрессивное движение должно сочетать старое с новым, благоговейное почитание святых истории с творчеством новой жизни. И в свете этого определения прогресса Сократ и Платон являются носителями того высшего прогрессивного сознания, которое делает из них вечных учителей человечества. Духовный опыт человечества на протяжении 2400 лет решил спор софистов с Сократовой школой в пользу этой последней. Пафос вечности, смирение перед высшими объективными связями жизни, — эти духовные устремления, составляющие жизненные корни Сократовой философии, обеспечили этой философии значение вечно-юного источника философского познания, тогда как «дерзкое самообольщение» софистического субъективизма остается лишь примером крушения рационалистической мысли, пытавшейся все объяснить и построить из себя.

Но если верны те общие определения, которые мы только что установили, то, очевидно, идейные источники утопического сознания русской интеллигенции лежат за пределами русской действительности. Отыскать их не представляет труда: они восходят несомненно к тем социалистическим и анархическим учениям, которые в европейской мысли XIX века представляют собою самый яркий пример рационалистического утопизма и безрелигиозного отщепенства. В свою очередь и утопические учения социализма и анархизма имеют свои прообразы в утопизме французской революционной доктрины XVIII века с ее верой во всемогущее значение учреждений, в чудесную силу человеческого разума, в близость земного рая. Отсюда можно провести длинную цепь преемственности идей к еще более старым учениям рационализма и утопизма. Столь же древние корни имеет и то другое течение русской интеллигенции, которое ведет свою генеалогию от Чаадаева, Достоевского и Влад. Соловьева. Нетрудно было бы отыскать его прообразы в древне-русской письменности, и несомненно, что в поисках за его первоисточниками мы должны будем прийти к христианской религии и греческой философии. Величайшее несчастье русского народа заключается в том, что это последнее течение русской интеллигенции, связанное глубокими корнями со всем ходом русской истории, не имело у нас руководящего значения, и что господствующим направлением интеллигентской мысли оказалось то, которое должно было привести ее к неминуемому крушению. Несчастье заключается в том, что яд социалистических и анархических учений отравил собою не только социалистическое и народническое сознание в подлинном смысле этого слова, но что он глубоко проник во все мирозерцание русского просветленного общества. Как часто и те, кто по своим воззрениям и по своей тактике стояли вне социалистических и народнических партий, все же находили возможным сохранять какую-то связь своих воззрений с социализмом, с народничеством, а иногда и с анархизмом. Как настойчиво сказывалось стремление поддерживать союз и дружбу с так называемыми левыми течениями интеллигентской мысли. «Я ведь тоже немножко социалист», «для будущего я, конечно, признаю социализм», «в идеале я допускаю анархизм» — все эти и тому подобные ходячие обороты интеллигентской мысли с полной ясностью обнаруживают, что в нашей несоциалистической интеллигенции не было ясного представления ни об анархизме, ни о социализме. Не было представления о том, что эти учения хотят,

выражаясь языком Штирнера, построить жизнь «ни на чем», что они свершают свои построения вне основ культуры, на той высоте отвлеченного рационализма, где отрицаются все органические связи жизни, где подрываются все корни истории. Социализм и анархизм в своем чистом и безусловном выражении атеистичны, космополитичны и безгосударственны, и в этом смысле они ничего не могут построить, не отрекаясь от своей сущности: их основное стремление может быть только разрушительным.

Западно-европейская либеральная мысль, выкованная долгим опытом ответственной государственной работы, нашла в себе достаточно силы и широты, чтобы преодолеть социализм, чтобы отделить нравственные предпосылки социализма от ядовитых последствий его революционного утопизма и включить эти предпосылки в свое собственное учение о государственности и свободе. В России несоциалистическая мысль не могла достигнуть этой степени зрелости; она блуждала в потемках и смутно тянулась к социализму, не подзревая, что нравственная основа социализма — уважение к человеческой личности — есть начало либеральное, а не социалистическое, и что в учениях социализма эта основа не развивается, а затемняется.²

Вместе с ядом социализма русская интеллигенция в полной мере приняла и отраву народничества. Под этой отравой я разумею свойственную народничеству веру в то, что народ всегда является готовым, зрелым и совершенным, что надо только разрушить старый государственный порядок, чтобы для народа тотчас же оказалось возможным осуществить самые коренные реформы, самую грандиозную работу общественного созидания. Первым апостолом этой веры был Бакунин с его учением о созидательной силе разрушения. Не замечая анархических корней этой веры, русская интеллигентская мысль ставила своей основной политической задачей принципиальную борьбу с властью, разрушение существующего государственного порядка. Когда в результате этой борьбы старый строй падет, все совершится само собой. Двукратный опыт русской революции показал, что эта народническая вера была чистой анархической иллюзией, совершенно ложной теоретически и губительной практически.

Можно, конечно, объяснить, как и почему русская интеллигенция в старых условиях жизни была такой, какой она была; можно даже стараться доказать, что она не могла быть иной. Допуская возможность и пользу таких исторических объяснений, я не

² Свои взгляды на социализм и анархизм я подробно обосновываю в своем исследовании «Об общественном идеале».

ставлю их, однако, своей задачей в данном случае. Моя цель — указать логическую связь идей. Пусть даже господствующее направление нашего просвещенного общества было объективно неизбежным несчастьем русской жизни. Но если бы это было и так, мы должны со всею искренностью и прямотой выяснить не одни причины этого несчастья, но также и его последствия. Важно признать, что в смысле влияния на развитие русской государственности отщепенство русской интеллигенции от государства имело роковые последствия. И для русской общественной мысли несколько не менее важно выяснить эту сторону дела, столь важную для будущего, чем искать объяснений прошлого. Важно, чтобы утвердилось убеждение, что отщепенство от государства — этот духовный плод социалистических анархических влияний — должно быть с корнем исторгнуто из общего сознания, и что в этом необходимый залог возрождения России.

4

Я говорил вначале о том, каким единодушным хором порицания были встречены «Вехи» в русском обществе. Это объясняется тем, что сотрудники «Вех» несли с собой начала, резко разрывающие с социалистическими, анархическими и народническими верованиями русской интеллигенции. Опыт осуществления этих верований в 1905 году был прерван государственным действием сверху, и те, кто питал утопические иллюзии, отошли в сторону с уверенностью, что их стремления, правильные по существу, не осуществились только вследствие внешнего насилия власти. Подавляющее большинство русского общества присоединилось к этому взгляду. Лишь немногие, и в том числе сотрудники «Вех», уже тогда предвидели, что из ядовитых семян утопизма не может взойти добрых всходов, что они несут с собою гибель и смерть. Великая смута наших дней показала, насколько правы были эти немногие и как ошибались те, кто ожидал русской революции как торжества и счастья русского народа. Не только государство наше разрушилось, но и нация распалась. Революционный вихрь разметал и рассеял в стороны весь народ, рассек его на враждебные и обособленные части. Родина наша изнемогает в междоусобных распрях. Неслыханное расстройство жизни грозит самыми ужасными, самыми губительными последствиями. Захваты и завоевания неприятеля почти не встречаются противоядия, и, кажется, всякий может сделать с Россией, что хочет. Только самые черные дни нашей прошлой истории могут сравниться с тем, что мы сейчас переживаем.

В этих условиях всеобщей муки и тоски прозревают и слепые. То, что десять лет назад утверждали не-

многие, теперь начинают говорить все. Все чаще и чаще слышатся сомнения, тем ли путем мы шли; и нет сейчас вопроса более жгучего, как вопрос о судьбах нашей интеллигенции. Стихийный ход истории уже откинул ее в сторону. Из господствующего положения ее стало служебным, и в тяжком раздумье стоит она перед своим будущим и перед будущим своей страны. Те, кто ранее этого не видел, все более настойчиво повторяют, что беда интеллигенции в том, что она была оторвана от народа, от его подлинного труда и от его подлинной нужды. Она жила в отвлечении, создавала искусственные теории, и самое понятие ее о народе было искусственным и отвлеченным. Погруженная в свои теоретические мечты и разногласия, она жила в своем интеллигентском скиту, и когда пришло время действовать, ответственность перед своим скитом, перед своими теориями и догмами она поставила выше своей ответственности перед государством, перед национальными задачами страны. В результате государство разрушилось, и скит не уцелел.

В этих суждениях, которые мне пришлось слышать от ярких представителей социалистической интеллигенции, мы подходим довольно близко к старой формуле П. Б. Струве об интеллигентском отщепенстве от государства. Остается сделать только один шаг, чтобы вплотную подойти к философии «Вех». Все суждения, которые приходится теперь слышать об интеллигенции, говорят о гибельности ее отрыва от народа и о необходимости сближения с ним. В связи с этим охотно признают органические пороки оторванного от общей народной жизни интеллигентского сознания: принципиальное самонимие, стремление осчастливить человечество придуманными системами, излишества отвлеченной критики, бесплодность замыслов и решений, «кипенье в действительности пустом»³. Естественным выходом из этих бедствий отвлеченной мысли признается сближение с народом в его труде, нуждах и жизни. Устранить замкнутость и обособленность интеллигенции, связать ее с непосредственным практическим делом — вот настоящее решение вопроса о судьбе интеллигенции. Так говорят сейчас многие; но не трудно видеть, что это решение представляется чисто формальным и потому совершенно недостаточным. Вопрос ставится здесь так, как будто бы вся задача имеет чисто механический характер; механический отрыв должен быть исцелен механическим сближением, и все заключается в том, чтобы

интеллигенции и народу быть вместе, а не врозь. Между тем вопрос о том именно и стоит, каково то дело, в котором народу и интеллигенции надо быть вместе. Когда, как в наши дни, утрачивается самое понятие об общем, всех объединяющем деле, когда разрушительная стихия эгоистических стремлений разрывает на части народный организм и угашает в нем душу живую, становится очевидным, что мы имеем перед собою не внешнее механическое распадение, а глубокий духовный кризис. Вся задача заключается в том, чтобы правильно понять и определить существо этого кризиса. Тогда и выход из него определится в действительном соответствии с глубиной переживаемой смертельной опасности.

5

Когда после смуты начала XVII века Трубецкой и Пожарский рассылали по местам грамоты с просьбой о присылке на собор «лутчих, и разумных и постоянных людей, чтоб им во всех вас место... о государственном деле говорити было волюно и бесстрашно», они требовали этих людей в Москву «для великого Божья и земского дела». Государственное устройство родной страны представлялось им великим Божиим делом, и акт избрания государя, для которого созывался собор, они рассматривали как необходимую органическую основу государственного строительства: «а то вам даем ведати, да и сами вы то знаете, только у нас вскопе в Московском государстве государя не будет, и нам без государя несколько быть невозможно. Да и в некоторых государствах нигде без государя государство не стоит»⁴. Вот ясное и простое выражение того взгляда, который понимает государственное дело как дело Божье, который ищет утвердить государство на крепких основах исторического опыта. Этому взгляду совершенно чужда мысль о том, что государственное дело не имеет отношения к душевной жизни личности. Еще более чуждо ему стремление все устроить по-новому, сделать так, как «в некоторых государствах» никогда не бывало. Тут сказывается благоговейное почтение дела Божия и опыта человеческого, преклонение перед высшими органическими законами жизни, пред объективными началами истории.

С этой точки зрения, если бы применить ее к вопросам нашего времени, следовало бы сказать, что и народу, и интеллигенции надлежит быть вместе в служении некоторому общему делу, стоящему выше и народных желаний, и интеллигентских теорий. Такому служению одинаково противоречат и ломка народной жизни по отвлеченным требованиям ин-

³ Одним из самых интересных опытов разбора свойств интеллигентского сознания являются статьи проф. Виппера в «Утре России» под заглавием: «Соль земли».

⁴ «Новые акты Смутного времени». Собрание С. Б. Веселовского, № 82, М., 1911.

теллигентских утопий, и возведение народных желаний на степень высших идеалов государственного строительства. Работа просвещенного сознания необходима, но она должна совершаться в сознании объективных и универсальных основ общественного созидания. Забота о народе обязательна и священна, но лишь при том условии, что она не создается из народа кумира и что она связывает эту заботу с тем Божьим делом, которому одинаково должны служить и народ, и интеллигенция. Только в таком случае прогрессивная мысль интеллигенции получает свое подлинное и крепкое содержание, а народная жизнь утверждается на прочном фундаменте органического строительства. Это тот путь сочетания старого с новым и изменчивого с постоянным и вечным, о котором так хорошо говорил английский либеральный писатель Бёрк: «Сохранение старого при постоянных изменениях есть общий закон всякого постоянного тела, состоящего из переходящих частей. Этим способом целое никогда не бывает ни молодым, ни старым, ни средних лет, но движется в неизменном постоянстве через различные фазы падения, обновления и прогресса. Следуя этому установленному природою порядку в управлении государством, мы достигаем того, что улучшения никогда не бывают совершенно новыми, а то, что сохраняется, никогда не становится совершенно устаревшим. Действуя всегда как бы пред ликом святых праотцов, дух свободы, который сам по себе может вести к излишествам, умеряется благоговейной важностью. Мысль о свободном происхождении внушает человеку чувство собственного достоинства, далекое от той наглой дерзости, которая почти всегда безобразит первых приобретателей всякого преимущества».

Каждый народ, образовавший из себя духовное целое, имеющий свою историю, свою культуру, свое призвание, носит в себе живую силу, которая сплавливает воедино его отдельные члены, которая из этих атомов, из этой пыли людской делает живой организм и вдыхает в него единую душу. Это — та великая сила духовного сцепления, которая образуется около святынь народных: это — сила того Божьего дела, которое осуществляет в своей истории народ. Это — святыни религиозные, государственные и национальные не в смысле общеобязательных догматов и единообразных форм, вне которых все, принадлежащее к данному государству и к данной нации, отмечается и подавляется, а в общем значении руководящих объективных начал, пред которыми преклоняется индивидуальное сознание, которые оно признает над собою господствующими. В пределах данного государства могут уживаться разные веры и могут бороться разные поли-

тические воззрения; в нем могут существовать рядом народности и наречия; но для того, чтобы государство представляло собою прочное духовное единство, оно должно утверждаться на общем уважении и общей любви к своему общенародному достоянию, и оно должно в глубине своей таить почитание своего дела, как дела Божия. И неверующие по-своему могут разделять это почитание, этот культ своей родины, поскольку служение ей они признают делом достойным и правым и поскольку в защите этого дела они готовы идти на жертвы, даже и на пожертвование жизнью своей и своих близких: это и значит именно, что они до конца вырывают из своего сердца корень эгоизма во имя высшей идеальной связи, пред которой они самозабвенно и благоговейно склоняются. Государство не может принудить всех к единообразному культу, и сыновья привязанности к нему граждан, как к своему отечеству, как к делу своих отцов, не может выливаться в форму рабской покорности одних групп пред другими, господствующими и возвеличенными. Истинный патриотизм утверждается на одинаковом подчинении всех частей народа идее государства, как дела Божьего. Он предполагает родину-мать, которая не знает различия сынов и пасынков; он предполагает отчизну-семью, в которой все люди — братья, отличающиеся между собой не искусственными признаками, а природными дарованиями и личными заслугами.

Уживаясь вместе в дружном союзе гражданского единства, отдельные народности и группы каждая по-своему могут благоговейно чтить свою родину и возносить молитвы Богу о ее богохранении; но если никакая народность не возносит этих молитв о своем государстве, если никто не верит больше в свое государство, не любит и не чтит его, такое государство существовать не может. Без этого, выражаясь словами старой грамоты, «в некоторых государствах нигде государство не стоит». И сейчас, когда революционный вихрь рассеял и разметал стороны державу российскую, когда он отдал ее в чужие руки, только пробуждение религиозного сознания и национально-государственного чувства может возродить Россию. Старая Россия — надо ли это разъяснять? — не сумела возвести русскую государственную идею на ту высоту, которая представляет сочетание твердых национально-государственных и религиозных основ с идеями равенства и свободы. Формула старой русской государственности: «самодержавие, правослаvie и народность» давала этим необходимым основам государственного бытия догматическое и обособляющее истолкование. Но что сделала русская интеллигенция для того, чтобы живым и неотразимым

воздействием широко разлитого общественного сознания способствовать усвоению формул более всеобъемлющих? Мы можем назвать небольшой ряд имен — и между ними особенно имя Влад. Соловьева, — которым принадлежит заслуга усердной работы в этом направлении. Что касается русского общественного сознания в его господствующих течениях, то ему принадлежит печальная роль той разрушительной силы, которая в борьбе с догматизмом старых основ отвергла и вовсе конкретные и реальные основы истории, заменив их отвлеченной пустотой начал безгосударственности, безрелигиозности и интернационализма; а когда ей предоставлена была свобода действовать и властвовать, она привела Россию на край гибели. Для русского государственного сознания наших дней встает задача огромной жизненной важности: в непосредственном взаимодействии власти и народа осознать и утвердить необходимые основы государственного бытия. Было бы величайшим несчастьем для России, если бы та новая национальная власть, которой ждет страна, не нашла в себе достаточно творческой силы для того, чтобы вступить на новый путь государственного строительства. Но еще более тяжким и совершенно непоправимым несчастьем явилось бы то, если бы интеллигенция наша снова решила, что ей нечего пересматривать и нечего менять. Ибо только в духовном опыте просвещенной части общества вырабатываются идейные основы государственности. И если бы русское просвещенное общество снова оказалось в плену у социалистических, народнических и анархических верований и снова бы стало в положение силы, принципиально враждующей с властью, на кого бы могла тогда опереться власть в своих прогрессивных стремлениях? В таком случае мы снова оказались бы в том заколдованном кругу, из которого не могли выйти ранее: узкое понимание государственности сверху, полное отрицание государственности снизу. Задача нашего времени заключается в том, чтобы разорвать этот заколдованный круг, чтобы дружным действием и власти, и народа воскресить и поднять расслабленные силы русской земли. Но для этого великого государственного дела надо отказаться от всяких частных, групповых и партийных лозунгов. Скрепляют и живят только начала общенациональные, возвышающиеся над всеми, только силы органические, объединяющие всех общей внутренней связью; партийные же лозунги и программы только разделяют. Лишь целостная сила, исходящая из святынь народной жизни и народной культуры, может снова сплотить воедино рассыпавшиеся части русской земли. Вот то общее дело, в котором интеллигенция и народ

надлежит быть вместе и в котором самое противопоставление интеллигенции и народа должно исчезнуть или по крайней мере утратить свою остроту.

И когда в свете этого общего дела, доллжающего спаять воедино интеллигенцию и народ, мы обсуждаем тот отрыв интеллигенции от народа, который является причиной крушения интеллигентского сознания, мы приходим к заключению, что тут мы имеем дело не с простым отлучением от народа, которому легко помочь сближением и воссоединением: это — падение в бездну, спасение от которой может быть достигнуто только через самоотречение, только через подвиг духовного освобождения от иллюзий рационалистического утопизма.

6

Мы обозначили то направление мысли, которое составляет причину кризиса интеллигентского сознания, именем рационалистического утопизма. Мы должны теперь дать более точное определение этого состояния сознания, чтобы показать, каким образом самые искренние и благожелательные стремления утопической мысли вместо блага приносят зло, почему они, стремясь создать новую жизнь, на самом деле лишь разрушают и мертвят, почему, обещая людям земной рай, они нередко приводят к земному аду и вместо счастья и всеобщего устройства ввергают всех в ужас и хаос анархии и запустения.

Основной закон общественной жизни зиждется на связи общественного порядка с высшими объективными основами истории. Когда мысль человеческая отрывается от этой связи и пытается построить общую жизнь на началах придуманных и отвлеченных, она переворачивает и извращает все естественные отношения. Отсюда — неизбежное расстройство и разрушение, которые она приносит с собою.

Каждая утопия обещает человечеству устранение общественных противоречий, гармонию личности с обществом, единство жизни; и каждая утопия предполагает, что она знает такое универсальное средство, которое приведет к этому блаженному состоянию всеобщей гармонии и мира. Но именно поэтому каждая утопия представляет собою мечту о всецелом устройении, а вместе с тем и упрощении жизни. Предполагается, что можно найти одно слово, одно средство, одно начало, имеющее некоторый всемогущий и всеисцеляющий смысл, что можно, согласно с этим началом, устроить жизнь по разуму, освободить ее от противоречий, от разлада, от сложности, свести к единству, к согласию, к гармонической простоте.

История человеческая всегда шла и

идет через возрастающее противоречие, через борьбу противоположных начал к высшей сложности. Достижимое для нее единство есть относительное сочетание многообразных различий и возрастающих связей, а не абсолютное примирение противоположностей. Свет разума направляет пути истории, но не устраняет ее творческой глубины, ее бесконечных возможностей, ее иррациональных основ. Вот почему каждая утопия предполагает перерыв истории, чудо социального преобразования, и в своем осуществлении приводит к насилию над историей, к злым опытам социального знахарства и колдовства.

Предположение о возможности рационального устройства и упрощения жизни скрывает за собой и другое, еще далее и глубже идущее предположение: что зло и страдание могут быть побеждены разумом человеческим в совершенной общественности, что они связаны лишь с несовершенством учреждений, с неразумием отношений. Космологическую проблему зла и страдания здесь хотят решить в терминах социологических, зло мировое победить устройением социальных отношений. Но если борьба с общественным злом есть величайшая задача государственного строительства, то опыт всецелого и немедленного искоренения этого зла, представляя собою самообольщение человеческого ума, оказывается злом еще худшим и приводит к бедствиям, еще более тяжким и невыносимым.

Наконец, все изложенные предпосылки и предположения рационалистического утопизма скрывают за собою и еще одно логически с ними связанное предположение: отрицание Бога и религии. Утверждать, что жизнь можно устроить по разуму человеческому, что силою разума человеческого и воли человеческой можно победить и противоречия истории, и диссонансы мира, и бытовые стремления и страсти личности, значит то же, что признать этот разум и эту волю в их высшем совершенстве абсолютными и всемогущими, приписать им божественное значение, поставить их на место Божьего разума и Божьей воли. Не случайным является то обстоятельство, что величайшие представители социализма и анархизма внутренне отталкиваются от религии и вооружаются против нее. Тут сказывается неизбежная логика мысли. Утопии земного рая, признающие возможное всемогущество и господство в жизни разума человеческого, не могут одновременно с этим признавать и неисповедимые тайны Божьего Промысла. Хотеть устроиться по разуму, так чтобы разум человеческий был единым всемогущим владыкой жизни, это значит также верить, что можно устроиться без Бога, без религии.

Вот что означает тот отрыв, в который впадает интеллигентское соз-

нание, вступающее на путь рационалистического утопизма. Это — гордое самообольщение ума человеческого, возмечтавшего о своем всемогуществе и отпавшего от органических сил и начал мирового процесса. И единственным плодом этого самообольщения являются безвыходные противоречия и неизбежное крушение. Весь устремленный в будущее утопизм старается разорвать все связи с прошлым; призывающий человека искать своего благополучия здесь, на земле, утопизм отрывает его от всего трансцендентного и потустороннего. Но такая всеобщая критика, разрушающая историю и религию, расшатывающая все земное и небесное, в результате создает вокруг человека пустоту разрушения, хаос неустроенности, в которых не видно, как найти выход к желанному свету. И в конце концов этим разрушителям и громовержцам нередко приходится постулировать закономерность истории, необходимость постепенного приготовления будущего, высшие законы жизни, т. е. возвращаться к тем предпосылкам объективного идеализма, которые принципиально отвергаются рационалистическим утопизмом. Здесь утопизм находит свой предел и свое ниспровержение. Жизнь возвращается утопическое сознание на историческую почву, ставит его на место, подчиняет его своему ходу, своей закономерности. В этом состоит крушение утопий, характеризующее собою кризис интеллигентского сознания⁵.

Но для того, чтобы этот кризис, эта тяжелая болезнь духа нашла свое действительное исцеление, очевидно, недостаточно, чтобы утопическая мысль только формально признала наличие высших законов истории: пока эти законы открывают простор для самопревознесения субъективного сознания, для самообольщений утопизма, признание их остается чисто внешним и словесным. Недостаточно также и того, чтобы интеллигенция принялась за практическое дело и сблизилась с народом. Если она войдет в практическую жизнь со всеми грехами и недугами утопического сознания, если деятельность ее будет руководиться разрушительными идеями интеллигентского отщепенства, из этого ничего не получится, кроме дальнейшего расстройства жизни. Все мы, сыны единой России, согласно призыву старых вождей русского народа, должны стать на путь служения «великому Божьему и земному делу». Только любовь к своему общенародному достоянию, к своей культуре, к своему государству исцелит и всех нас, и Россию от безмерно тяжких испытаний.

⁵ Более подробно развитие этих начал я даю в моем сочинении «Об общественном идеале». Выпуск II.



ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

ПОСМЕРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕВИНОВНЫХ

Хотя арестованных по делу об убийстве братьев Морозовых было десять, нам приходится проверять причастность к убийству и других лиц.

В печати встречались утверждения, что убийцей Павлика был его отец Трофим Морозов. Писатель Виктор Шкловский в книге, выпущенной в 1973 году, утверждал, что Павел «выступил против своего отца и был им убит». Версия «отец — убийца сына» появлялась в печати не раз. Мог ли отец это сделать?

Трофим Морозов во время убийства находился в заключении на Крайнем Севере. Он мог бежать, если был к тому времени жив. Те, кто говорят, что Трофим написал письмо жене и детям, утверждают, что он вообще не знал об убийстве. Если он бежал, невероятно, чтобы он пошел на убийство двоих собственных детей. Авторы, обвинявшие отца, как мы выяснили, на месте не были и дела не знали. Версия эта носит скорее всего литературный характер (Сатурн, пожирающий своих детей, Авраам, собирающийся принести в жертву Исаака, герой Николая Гоголя Тарас Бульба, убивающий сына за предательство, и т. д.). К тому же, Шкловский нам

сказал, что прочитал об отце-убийце в сценарии кино.

Может быть, Павлик был убит собственной матерью? Такое подозрение — не наша выдумка: Татьяну допрашивали 11 сентября в качестве свидетеля, а 23 сентября уже в качестве обвиняемой, и протоколы эти мы имеем.

«Мои дети были убиты 3 сентября с. г. в отсутствие меня, так как я уехала 2 сентября в Тавду и без меня все это произошло, — показала Морозова на первом допросе. — С 31 августа на 1 сентября с. г. во время ночи, часов в 12, кто-то к нам в сенки зашел, избную дверь поткнул, но открыть не могли, так как дверь была закрыта крепко, и опять с 1 на 2 сентября с. г. кто-то приходил ночью, слышно было два мужских голоса, наша собака на них залаяла, а потом стала ластиться около них, а собака живет у нас и уходит к Морозову Сергею и Даниле, так как жили вместе». Голосов родных Морозова не узнала, но заявила, что приходили дед с Данилой, хотя во всех соседних домах жили родные, и собака туда тоже бежала, конечно, и знала всех.

Поведение матери в эти дни действительно может показаться странным. По рассказам жителей Герасимовки, Павлу угрожали много раз, особенно ближе к осени, когда появился новый урожай и мальчик снова принялся доносить, кто, где и что прячет. Павлик избит. Затем две ночи

подряд в дом ломятся неизвестные, а утром мать уезжает на несколько дней в город, бросив четверых маленьких детей, не заявив ничего милиционеру и даже не оставив детям еды. Больше того, понимая, какая опасность нависла над сыном, она уговаривает его в ее отсутствие уйти в лес за клюквой без взрослых, да еще с маленьким братом, и при этом дети одни собираются заночевать в тайге в шалаше.

Морозова уехала в Тавду сдавать теленка на заготовительный пункт. Возила ли она мясо сдавать государству или же на рынок, не проверялось. Если на рынок, то это была столь же незаконная акция, как и те, на которые Павлик и она доносили властям. Кстати, когда точно она уехала, не было установлено, когда вернулась — тоже. Ее не было в деревне со дня убийства до дня, когда нашли трупы детей.

«Мать она была плохая, равнодушная и ленивая, — вспоминает ее двоюродная сестра Беркина. — Детей кто угодно подкармливал. В доме грязь, одежда рваная, дырки не латала. Павлика она после ненавидела за то, что лишил ее мужа». Павлику угрожали, и она могла спасти его: послать на заработки или в детский дом в соседнем поселке. Тогда такие способы подкормить малоимущую семью практиковались широко. Писатель Мусатов в журнале «Вожатый» (1962, № 9) поддерживал эту же

мысль: матери было легко спасти мальчика, отправив его на заработки в город.

Спустя полвека Морозова нам рассказывала: «Я мертвых увидела, схватила нож, хотела остальных ребят резать и на себя руки наложить, но мне не дали, нож отобрали. Дети от страха плакали... На суде я сказала: «Дайте мне яду, сулемы, я выпью». И повалилась, ничего не помню. Меня под руки вывели».

На следствии Морозова охотно согласилась поддерживать официальную версию убийства и готова была обвинять кого угодно. После допросов в Секретно-политическом отделе ОГПУ ее рассказы об убийстве начинают приобретать все более идеологический характер. Она вспомнила, например, что Павлик говорил: «Я на той точке стал, как говорил товарищ Ленин, взад ни шагу, а вперед — сразу податься два шага». Фраза Ленина звучит наоборот («Шаг вперед, два шага назад»), но это несущественно, важно, что Павлик — верный ленинец. Очевидная халатность матери в истории гибели сына, несомненно, имела место. Однако тех, кто проектировал процесс, более устраивала мать как жертва. Она понадобилась им в роли свидетельницы обвинения. Вот почему уполномоченный ОГПУ сначала перевел Татьяну Морозову из свидетелей в обвиняемые, а затем сам или по указанию руководства снова в свидетели, хотя она должна была быть потерпевшей.

Еще меньше оснований подозревать дядю Павла Арсения Силина. Журнал «Пионер» в 1933 году публиковал его фотографию вместе с другими расстрелянными. В буклете Свердловского музея он назван «организатором и исполнителем убийства» и также говорится, что Силин расстрелян. Но это просто ошибки. Вина его в обвинительном заключении вообще не доказывалась, говорилось так: «Зимой 1932 года Морозов Павел сообщил сельсовету о том, что Силин Арсений, не выполнив твердого задания, продал спецпереселенцам воз картофеля». Далее сообщалось, что он обвиняется по той же статье, то есть в терроре. Силин, как и Кулуканов, судился повторно (первый раз — «за злостный зажим хлебных излишков» за год до этого). Признать себя виновным Силин отказался. Но в какой-то момент заплакал и проговорил: «Простите меня, граждане судьи».

Силина, к чести судей, оправдали вопреки обвинению ОГПУ. Из большинства отчетов центральной прессы он был изъят, будто в оправдании человека было что-то компрометирующее советский суд.

Во время одного из допросов бабушка вдруг заявила, якобы ее дочь Хима тоже подговаривала Данилу убить Павлика. К Павлу Хима, жена Арсения Кулуканова, относилась хо-

рошо, хотя и ругала за доносы. Ее арестовали во время следствия, но затем выпустили. Днем она пряталась в подполье, а ночью выходила дышать, боялась, что снова арестуют.

В поисках более широкого круга замешанных в убийстве следствие по делу № 374 провело очную ставку троих Морозовых с крестьянином соседней деревни Владимиром Мезюхиным. У него делали обыск по доносу Павлика, знавшего, что дед Сергей спрятал у Мезюхина ходок (воз). Ходок не нашли. Основанием для привлечения нового обвиняемого было предположение, что Мезюхин решил отомстить. За неделю до убийства Мезюхин заходил в дом к деду Морозову и оставался обедать. Кроме того, он подарил Даниле три почтовые марки. Обед и марки привели следователя к мысли, что цель визита — сговор об убийстве, а три почтовые марки — взятка Даниле за предстоящую операцию. Любопытно, что все трое — дед, бабушка, Данила — охотно подтвердили на очной ставке вину Мезюхина. После этого следователь кандидатуру Мезюхина отверг. Возможно, все это нужно было для испытания обвиняемых на готовность давать любые показания.

Многие злились на Павлика. Каждый, на кого он доносил, грозил его избить или убить. Но в материалы следствия попали только угрозы, исходившие от подсудимых.

Главным организатором и вдохновителем (слова, обычно характеризующие в советской печати вождей) газеты называли дядю Павлика Арсения Кулуканова. Иногда он именовался «главным убийцей». Вопрос о прямом участии Кулуканова в убийстве ни следствием, ни судом не ставился. В лесу в день убийства он не был. Основное обвинение состояло в том, что он был кулаком. Смирнов писал в «Пионерской правде»: «Кулуканов играл не малую роль, будучи одним из ведущих кулаков». Соломеин в первой книге называет его не кулаком, а середняком. При переиздании книги автор сделал Кулуканова кулаком.

Кулуканов был однажды судим, писали газеты, приговорен к ссылке с конфискацией имущества и отбыл наказание. В обвинительном заключении, однако, говорится, что приговор суда был отменен. Выходит, Кулуканова уже один раз незаконно осуждали.

Основная его улика состояла в том, что он, как говорится там же, боялся «дальнейших доносов органам власти со стороны Морозова Павла». Основания бояться у Кулуканова были: закон не защитил его и его имущество в

первый раз. Но ненависти к власти у аполитичного Кулуканова не было. Это представители власти ненавидели его и публично оскорбляли. Кулуканов был крестным отцом Павла. После ухода Трофима из семьи он подкармливал детей, пригревал их в доме, который стоял напротив морозовского, через дорогу. Для обиды на крестника, который за ласку платил доносами, у Кулуканова имелись основания. На суде из этого противоречивого чувства устроили потеху для толпы. «... Кулуканов стоит на своем, — говорится в газетном отчете о суде. — Ему не хочется сознаться, он хочет отделаться незнающим. (Так в тексте. — Ю. Д.) Допрос продолжается».

УРИН (общественный обвинитель). Скажите, подсудимый Кулуканов, вы любили Павла?

КУЛУКАНОВ. Любил.

УРИН. Если вы любили, то почему же не пошли искать его, когда он с братом пропал?

КУЛУКАНОВ. Я... Я... Ну просто так не пошел и не пошел. (В зале смех.)

Кулак Кулуканов хочет отвертеться незнанием дела, но этот номер не пройдет, его сообщники выдают».

Можно ли считать серьезным обвинение, что дядя не пошел искать Павла? Кулуканова обвиняли также в том, что он подговаривал других к убийству и дал тридцать рублей за убийство, но ни денег, ни свидетелей передачи этих денег не было. Что касается обещанного Даниле золота, то оно фигурировало в газетных статьях лишь для эффекта, при обыске никакого золота обнаружено не было.

Угрозы в адрес крестника Кулуканов произносил. Угроза уголовно наказуема, но должна быть доказана и не карается расстрелом, тем более в отношениях между родственниками. Взрослые, случается, твердят маленьким детям: «Не доешь кашу — убью!»

По воспоминаниям знавших его, Кулуканов был трудолюбивым крестьянином, имел двух лошадей и сам работал как лошадь. Нанимал в помощь себе, но помощников хорошо кормил и справедливо отдавал им за труд часть урожая. Кулуканов был неграмотен, но грамотных уважал. Он поселил у себя учительницу, когда она приехала в глушь открывать школу и никто не хотел ее пустить. Учительница Кабина (она-то у него в доме и жила) заявила нам: «Кулуканов был против конфискации хлеба, но причастен к убийству не был».²

² Родной брат Кулуканова Прокоп в гражданской войне, защищая советскую власть, потерял руку. Прокоп не верил в вину брата и тяжело переживал его смерть. Сын Кулуканова Захар погиб во второй мировой войне, которая подчистила в деревнях мужчин, уцелевших во время коллективизации. Сын Прокопа, призванный в армию, погиб на учениях в Восточной Германии. Прокоп Кулуканов умер, когда услышал об этом.

Понимая, что обвинение недостаточно веско, общественный обвинитель на процессе (Смирнов в «Пионерской правде») через месяц с лишним после расстрела добавил Кулуканову следующие преступления: «У него также почитывали Библию, и он также произносил контрреволюционные речи». Затем в деревне распустили слух, что Кулукановы сожгли свой дом, не желая отдать его советской власти. В печати нагромождались версии одна ужаснее другой. Кулуканов убил свою первую жену и подкупил жандарма, чтобы тот закрыл дело. Кулуканов убивал в лесу коробейников (торговцев) — и отсюда его богатство. Ничего этого нет ни в обвинении, ни в показаниях свидетелей.

На следствии Кулуканов виновным себя не признал. То же произошло на суде. Писали, что Кулуканов «потерял дар речи». А он, возможно, отказался давать показания, поняв, что происходит. Кулуканов был расстрелян за убийство, но можно с уверенностью сказать: он не убивал.

Вторая обвиняемая, Ксения Морозова, бабушка Павла, в убийстве также не участвовала. В приговоре суда написано, что она узнала об убийстве на следующий день. Она расстреляна, как скрывшая преступление, то есть за недоносительство. Скрытие преступления состояло в том, что бабушка замочила окровавленную одежду и спрятала нож за икону. Сведения эти вызывают сомнение.

Указывалось, что нож спрятал Данила или дед. Что же касается одежды, то почему опытная бабушка, отсидев в молодости за конокрадство в тюрьмах, за три дня не спрятала улики?

Бабушка принимала роды у Татьяны, и Павлик считался ее любимцем. Соломеин отмечал, что бабушка ненавидела коммунистов. Ксения и не скрывала своей ненависти, но ее в этом не обвиняли.

Обвинение прокурора Зябкина опиралось на показания ее внука свидетеля Алексея Морозова. «Ксения пошла по ягоды в то же место, куда пошли Павлик и Федя, следовательно, — делал вывод Зябкин, — она могла придержать ребят в лесу, пока не подойдут убийцы». Что значит — «могла»? Придержала или нет? Да и ходила ли она в лес? Свидетель — десятилетний ребенок, который в то время сидел взаперти в избе и не мог этого знать. Легенда дала толчок вымыслу в прессе о том, как бабушка донесла деду, что Павлик собирается по ягоды, как заманивала детей в лес, чтобы там дед их убил, а когда детей искали, специально указала «не туда». Но, согласно обвинительному заключению, дети пошли в лес сами, бабушка об этом не знала. Учительница Кабина про бабушку Ксению говорила: «Она казалась похожей на Бабу-Ягу, грязная, оборванная, не в своем уме. Дети в деревне ее боялись. Но виновата она не была».

Дедушка Сергей Морозов и его

внук Данила названы в обвинительном заключении «непосредственными исполнителями террора». Поведение деда на следствии и суде выглядит весьма нелогичным. Сергея Морозова называют «непосредственным убийцей», и не сказано, убил он одного или обоих детей.

Неграмотный дед Морозов Библию знал: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Вторая книга Моисеева. 21,17.). Он ходил по деревне и говорил, что внук опозорил его фамилию. Между угрозами родных и убийством пропущен, однако, существенный момент: приведение угрозы в исполнение. «Никто Павлика не избивал при мне, — говорила нам Кабина, — а если и грозили, так кто детям не грозит?»

Обвинение утверждало, что дед Сергей Морозов ненавидел Павлика за то, что тот был пионером. Пионером Павлик не был. Дед мог ненавидеть внука за то, что он лишил его сына — кормильца в старости. Это вполне естественное в условиях русской деревни чувство. Корреспондент Антонов, бывший в зале суда, объяснял, однако, в газете «На смену!» по-другому: дед ненавидел мать Павла Татьяну со времени раздела имущества (то есть после развода с Трофимом) за то, что она вела себя неподобающе. Из этого журналист делал вывод: ненависть возникла на



Мать Павлика Татьяна Морозова и брат Алексей на показательном суде над убийцами Павлика и Федей.

почве семейных неурядиц и — «переросла в классовую».

Другое обвинение, записанное Соломеиным: дед Морозов не любил советскую власть, высказывался против колхоза. Высокий, худой, белобородый, Сергей Морозов, по рассказам современников, действительно любил пошутить насчет советской власти. Он заходил в сельсовет: «Граждане! У меня советские волки жеребенка съели!» — «Как так — советские?» — «А как же? Жеребенок-то был мой, а волки советские. Ведь они живут в советском лесу». Доставалось от остроумного Сергея Морозова и односельчанам. Но то были лишь слова. Никаких практических действий, направленных против колхоза, он никогда не предпринимал. Ведь колхоза при нем не было. Согласно обвинительному заключению, Сергей Морозов значится как единственный, «по имущественному положению бедняк, имеющий одну лошадь, одну корову и один га посевов». Потом в газетах стал подкулачником, то есть пособником кулаков, а позднее в печати его стали называть кулаком. Кулак нужен был для того, чтобы объяснить убийство из «классовых» побуждений.

Как бывший работник жандармерии, дед не мог не знать, что убийство — тягчайшее преступление, будь то по старому закону или по новому. Идя на убийство, он, конечно же, сознавал, какое за этим последует наказание. В тайге он мог бы легко уничтожить улики против себя, между тем все его действия были противоположны этой логике. Он убивает детей рядом с деревней, прямо на дороге, как будто специально для того, чтобы прохожие заметили следы крови и гору клюквы, высыпанную из мешка. Трупы не отнес чуть дальше в болото, где их засосало бы, но оставил на виду. В окровавленной одежде явились с Данилой в деревню (оба они были в крови или один Данила — неизвестно). Нож — главное вещественное доказательство — аккуратно принес с собой. Дед даже не вытер его от крови. Значит, долго нес нож в руках и так тщательно завернул, чтобы следы крови сохранились. Затем он положил этот нож в такое место, куда в крестьянском доме должны обязательно заглянуть при обыске, — за икону. Что же это за убийца, главная задача которого — оставить как можно больше улик?

Допустим, дед и Данила не успели скрыть следы сразу. Но у них было три дня, чтобы спокойно и тщательно это проделать. Для чего деду понадобилось убивать второго внука? Да, Федор тоже доносил, но вряд ли без Павлика он был опасен. Следствие, суд и пресса выдвигали одну причину: убивали, боясь свидетеля. Но убийца сознательно шел на зверства, искал возможности, так сказать, совершить публичное действие.

Момент, в который совершенно убийство, кажется, подтверждает вину деда. Доносчик убит осенью, когда вся деревня, наполняя сараи зерном, ожидала нового государственно-грабежа и старалась спрятать что можно, чтобы не нашли, чтобы хватило на зиму и не голодали дети. Убийство могло быть своего рода самозащитой. Месть должна была воспитывать других предателей крестьянских интересов. Люди должны знать, что соглалатай получил свое и те, на кого Павел донес был завтра, могут спать спокойно. Против Сергея Морозова работала и статистика, утверждавшая, что большой процент (почти половина) убийств в России совершается родственниками. Но это лишь общие рассуждения. И не все факты их подтверждают.

Кто был способен образумить Павлика, объяснить, что доносительство — зло? Отец? Но Трофим уже пал жертвой доноса. Мать? Она помогала сыну доносить. Учительница? Она этого не сделала. И только дед пытался отвлечь внука от дурной страсти. Пытался, но успеха не имел. Значит ли это, что он решил убить внука? Ведь ему не повезло не только с Павликом. Дед видел, что основным осведомителем в деревне был другой его внук, от дочери Устины, Иван Потупчик. Вот как писала учительница, а затем жена Потупчика Зоя Кабина в «Тавдинской правде» через тридцать пять лет: «Особенно Ваня Потупчик выделялся способностями и активностью». Устинья Потупчик, судя по записям Соломеина, рассказывала: «Один раз дед Морозов пришел злой.

— А Ванька игде?

— З ребятами в заулке песни играе.

— . . . твою мать, родила дурака. Ен у тоби якый большой, такой дурный . . . Усе смотреть, як бы найти у кого хлеб захованный . . . Так раз своего нэма, зачем чужой забирать?»

Этот эпизод, разумеется без поминания матери, перешел из записей Соломеина в его книгу. Важно вот что: если дед знал, что двадцатилетний Иван серьезный осведомитель, зачем было ему убивать двух маленьких детей? Разве доносы прекратились бы?

На следующий день после убийства, в воскресенье, дед поехал к старшему сыну Ивану в соседнюю деревню, по версии следователей, чтобы сообщить, что дело сделано. Эта версия стала поводом для обвинения Ивана в соучастии. Однако в показаниях очевидцев, записанных Соломеиным сразу после приезда в деревню, находим опровержение, весьма важное: «Морозов приехал домой вечером в воскресенье с милиционером Титовым». Выходит, дед сам привез в деревню милиционера искать внуков, когда матери еще не было! Этот факт почему-то не фигурировал на суде вообще. Между тем, как показывают

односельчане, поиски пропавших внуков начались благодаря ему!

С самого начала старик Морозов считался в деревне не причастным к делу. Его угрозы расправиться с Павликом никто за серьезные не принимал. «Будучи посаженным, — уверяет дальний родственник Морозовых Байдаков, — старейшина семьи до суда велел всем отпираться ото всего. Он отрицал не только свою причастность, но и вину других арестованных. Тогда его начали бить». «Еще перед арестом его избили до полусмерти, — вспоминает Татьяна Морозова. — Особенно отличился Иван Потупчик. В ОГПУ их тоже били, ну, они и признались». «На допросах грозил пристрелить на месте, — заявила учительница Кабина, — они не понимали, чего от них хотят, и говорили все что угодно, лишь бы не били». «Их долго таскали на допросы, — говорит одноклассница Павла Матрена Королькова, — то признаются, то не признаются. Деда пытали». В результате пыток и побоев следствие победило: перед судом старик взял убийство на себя.

Татьяна Морозова нам рассказывала: «Дед на суде заявил: «Господа судьи, меня допрашивали — пятнадцать наганов лежало на столе. Били ручьяками до полусмерти». Судья спросил: «Кто бил?» — «А такие, как вы, только с наганами». Конец суда писатель Соломеин описывает так: «Остриженный наголо, старик Морозов не походил на себя. Говорил тихо. То сознавался во всем, то начинал запирается. На вопросы отвечал путано. Морщился, истерично взмахивал рукой: «Мне теперь все равно . . . Судите скорее . . .»

В газетном отчете из зала суда читаем: «Старик Морозов пытается принять на себя «исусов» вид. Он говорит: «Я принимаю на себя весь грех, как принял иисус христос на суде иудейском». Имя Иисуса Христа в газетах тех лет писалось с маленькой буквы. Но дело не в этом. Христос, как известно, не был виноват, и намек деда весьма прозрачен.

Но сохранились и другие отчеты о поведении деда. Писатель Яковлев в книге говорил позднее, что дед в убийстве так и не признался: «Я и в лесу не был, на лежанке весь день отдыхал». — «Кто же убил?» — «А я знаю? Ничего я не знаю». Репортер местной газеты Антонов, присутствовавший на суде, также утверждал, что дед виновным себя на суде не признал, категорически отказался от данных на следствии показаний. Антонов писал: «В один из моментов допроса плачет мать . . . Плачет дед, однако остается тверд и продолжает отрицать свое участие в убийстве». Ни судьи, ни прокурор, ни свидетели не смогли предложить ни единого конкретного доказательства, что убивал дед. Несколько человек, присутствовавших в зале суда, нам заявили,

что дед виновным себя так и не признал. Чем же вызваны тогда колебания в поведении Сергея Морозова во время следствия, только ли пытками и избиениями? Его линия менялась из-за внука Данилы, показания которого были единственной уликой.

«Данила был дурачок», — рассказывала нам Татьяна Морозова. «Хорошего ничего в нем не было, — говорила Королькова, — оторви да брось. Но тупой он не был». В записях Соломеина находим: «Данила Морозов низкого роста, угрюмый. С людьми плохо разговаривал... с молодежью мало ходил. С девками не крутил». Беркина утверждает, что Данила был «чокнутый». Иное заявили его учительницы. Позднина уверяла, что Данила с интересом учился и неплохо (в отличие от Павлика) говорил по-русски. Учительница Кабина вспоминала: «Данила и Павлик учились вместе. Данила вовсе не был таким, как его изображают. Не вышибала и не мрачный дебил. Косил сено, пахал. Это был жизнерадостный трудяга-парень, немного простодушный. Сложения крепкого, невысокого роста, добрее и великодушнее Павлика. Если и дрался, то как все подростки. Данила не пил, как пишут. Тогда в деревне пили редко, а молодежь и подавно. Самогона не варили, потому что хлеба не хватало».

Данила, сын Ивана, который ушел жить в соседнюю деревню, был вскормлен и воспитан дедом и бабушкой, у которых прожил лет шесть. Дед собирался оставить Даниле нажитое. Печать называла Данилу «кулаком», но это нелепость. Данила своего имущества не имел вообще, хотя был трудолюбив, здоровьем не обижен и, когда вырос, стал опорой стариков. Учительница Кабина уверяла нас: «Данила в те дни исчез». Когда стали арестовывать, он убежал к отцу Ивану в соседнюю деревню, сделал это по совету деда. Данилу арестовали быстро, но маловероятно, что дед стал бы губить любимого внука. Между тем следователь писал, что это именно так.

«Во время ареста, — говорится в деле, — сидели обои в амбаре при сельсовете, где старик Морозов Сергей подговорил своего внука Морозова Данилу показать при допросе, что якобы пионер Морозова Павла и его брата Федора убил он, Морозов Данила». Слово «якобы» показывает, что следователю с самого начала было ясно, что Данила не убивал. И следователь сразу стал склонять неопытного Данилу к разоблачению деда.

Сидя в следственном изоляторе, Данила первое время выполнял наказ деда от всего отпираться. Тогда, по воспоминаниям Байдакова, который ссылается на рассказы уполномоченного из райкома, Данилу посадили отдельно и к нему впустили «наседку». Так называют доносчика, специально

подсаженного в камеру. Стал «наседка» втираться Даниле в друзья, сказал, что у него есть связь с волей. И действительно, «наседке» принесли водки и еды, и оба хорошо выпили. «Наседка» стал говорить, что Данилу, конечно, расстреляют, но могут и помиловать, если он покажет на деда и других. Деду все равно скоро помирать, а Даниле жить да жить... Данила и тут не отступил.

Тогда за Данилу взялся более опытный уполномоченный Секретно-политического отдела ОГПУ Быков. Он, в отличие от предыдущих следователей, на допросах говорил с Данилой без угроз и без брани. От него Данила услышал, что дед указал на внука как на убийцу. Это был следственный прием, старый как мир. Но неискушенный Данила клюнул на приманку и дал показания против деда, а значит, и против себя. Провели между ними очную ставку, на которой Данила показал, что дед — антисоветчик и убийца, а разъяренный предательством внука дед — что убийца — Данила. Этого следователи и добивались. В секретной спецзаписке по вопросу террора, рапортующей об успехе допросов, вина Данилы полностью отсутствует: «При допросе Морозова Данилы 16.09.32 последний показал, что убийство пионера Морозова и его брата произвел Морозов Сергей только за то, что Морозов Павел как пионер проявляет активность в проводимых мероприятиях Советской власти и партии на селе, кроме того, вызывает про кулацкие проделки властям. Морозов Сергей все время вел и ведет тесную связь с местным кулачеством, к Советской власти настроен враждебно, до убийства детей, указанных выше, завсегда, когда их видел, то наносил им угрозы со словами «**Обождите, щенята-коммунисты, попадетесь мне где-нибудь, я вам покажу и с вами расправлюсь**». (Выделено в оригинале — Ю. Д.) Это он говорил в присутствии Татьяны (мать зарезанных детей), своей жены Морозовой Ксении и внука Морозова Данилы».

Следствие сразу сдвинулось с мертвой точки. Данила стал незаменимым помощником следователя. Пошли одна за другой очные ставки. Все обвиняемые отрицали свою вину — Данила всех обвинял. И хотя он путался, следователи подправляли его, как надо. То обстоятельство, что он был посажен отдельно, тоже доказывает, что он помогал следствию. Но важнее другое: как видим, в показаниях Данилы сразу были добавлены все те политические соображения, которые нужны для будущего показательного процесса. Стало ясно, что дело почти готово. Это подтверждают и даты: Данила дал нужные показания против деда 16 сентября, а 17-го отправляется наверх секретная записка о победе следствия. В этот же день в районной газете «Смена» торжественно

сообщается, что следствие уже закончено.

«Производит впечатление простого, тихого деревенского парня, — говорится в отчете о судебном заседании. — Встав перед столом суда, он заявил: «Здесь старик много путал, говоря правду и неправду, то признает себя виновным, то нет. Я буду говорить все так, как было». Журналист Антонов писал в газете «На смену!», что за два с половиной месяца допросов Данила сообщил пять-шесть вариантов участников преступления и каждый раз потом брал свои слова обратно. Фантазии Данилы не смущали ни следствие, ни суд. Напротив, Данила оказался великолепной находкой: он аккуратно подписывал все, что перед ним клали на стол, охотно повторял, что поручали.

В свете поведения Данилы становится понятнее линия поведения деда. Пережив на воле предательство трех внуков — Ивана Потупчика, Павла и Федора, — Сергей Морозов защищал остатки семьи. Данила был последней надеждой деда, его опорой, единомышленником. И вот его четвертый внук продался басурманам. Такого поворота дед не ожидал, и это его надломило.

Мы можем только представить себе лютую обиду, которую испытывал Данила, когда в награду за свои старания получил смертный приговор, как и все.

Но жизнь Данилы не оборвалась. Учительница Кабина рассказала нам: «После суда в газетах сообщили, что убийц расстреляли. Прошло месяца три. Как-то смотрела я почту в сельсовете. Вижу странный конверт: листок из книжки вырван, сложен и по краю зашит ниткой, сверху адрес написан и моя фамилия. Я открыла письмо, стала читать и глазам не верю. Данила писал, что стариков расстреляли, а он еще жив. И само письмо доказывало, что он жив: почерк Данилы я сразу узнала, ведь он мой ученик!»

— Где же это письмо? — спросили мы Кабину, наведив ее в ленинградской больнице, в которой она лежала после удаления катаракты.

— Сперва я его хранила, а потом стало страшно. Ведь официально объявили, что он мертвый, а у меня доказательство, что это обман. И письмо уничтожила...

— Почему же его не расстреляли?

— А зачем расстреливать дармовую рабочую силу?»

Учительница Позднина позже подтвердила, что Данилу не расстреливали «за большую помощь, оказанную советской власти». Его отправили в лагерь на лесоповал пожизненно. Фамилию ему переменили, стали звать Данила Книга (фамилия в белорусских деревнях распространенная). Рассказали об этом учительнице вышедшие на волю заключенные.

(Продолжение следует)



Э Г И Л С Л Е В И Т С

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИЛИ ЛАТВИЙСКАЯ ССР?

Известно, что 17 июня 1940 года — в момент, когда Советский Союз оккупировал независимую и международно признанную Латвийскую Республику, — у нее за границей находились изрядные запасы золота и иностранной валюты. Они были депонированы главным образом в банках США (3 048 119 кг золота) и Великобритании, а также во Франции и Швейцарии. В 1940 году, после оккупации Латвии, США и Великобритания заморозили принадлежащие Латвии ценности. Позже Великобритания все же, основываясь на договоре от 5 января 1968 года с Советским Союзом, использовала принадлежащие всем прибалтийским странам¹ ценности для удовлетворения претензий своих граждан по отношению к Советскому Союзу, возникших в связи с направленной в свое время против них деятельностью советских учреждений (национализация собственности) на территориях, присоединенных к Советскому Союзу после 1 января 1939 года (т. е. и в Латвии). Таким образом Великобритания присвоила латвийское золото. О судьбе латвийского золота, находящегося во Франции и Швейцарии, сведений пока нет. Оно, видимо, все еще заблокировано (из-за так называемой «банковской тайны» — информацию об этом раздобыть сложно). Однако по крайней мере 3 тонны золота Латвийской Республики, с 1940 года хранящиеся в «Federal Reserve Bank» США (по современным рыночным ценам его стоимость составляет около 45 миллионов долларов США), до сих пор находятся «на своем месте».²

Возникает вопрос, кому принадлежат эти ценности. Правительство США считает их собственностью независимой Латвийской Республики, распоряжаться которой вправе только правительство Латвийской Республики. Так как такового (пока) нет, то это имущество продолжает оставаться замороженным. Правительство СССР считает, что это имущество принадлежит СССР и правительство США блокирует его незаконно. В последнее время в Латвии высказывалось мнение, что законным владельцем этого золота следует считать Латвийскую Республику, а не СССР.

Ответ на этот вопрос зависит от того, каков в настоящее время международный правовой статус Латвии. Если бы Латвийская Республика погибла, то ее наследниками могли быть и СССР, и непосредственно Латвийская ССР (если бы она была правоспособным субъектом международного права). Поэтому прежде всего попытаемся выяснить вопрос о международном правовом статусе Латвии.

II

16 июня 1940 года Латвийская Республика была независимым, всеми признанным государством, членом Лиги наций. Мирным договором от 11 августа 1920 года ее признала Советская Россия (позднее Советский Союз), которая поддерживала с ней дипломатические отношения. Латвийская Республика, как независимое государство

¹ Эстония и Литва тоже имели золотые и валютные запасы за рубежом, главным образом в США и Великобритании.

² О депонированном за границей латвийском золоте, особенно о договоре 1968 года между Великобританией и СССР, об использовании этих ценностей см.: Юрис Боярс, «Латвийское золото», — «Родник» № 12, 1989.

и тем самым правоспособный субъект международного права, несомненно, была тогда владельцем своих депонированных за рубежом золотых и валютных запасов.

В тот день правительство Латвийской Республики получило ноту Советского правительства, в которой ультимативно в качестве основных выдвигались требования:³

1. Назначить новое правительство, соответствующее представлениям Советского Союза;

2. Позволить Советскому Союзу ввести на территорию Латвийской Республики неограниченный контингент войск.

Основным принципом международного права является суверенность государства, т. е. его право и возможность свободно определять свою судьбу. Этот принцип подкрепляется обязанностью государств не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Одна из самых тяжелых форм вмешательства — направленное против другого государства требование изменить состав его правительства. В международном праве это называется конституционной интервенцией. Ввод войск в другое государство вопреки воле этого государства в международном праве обозначается как оккупация.⁴ Решающим критерием здесь является свободное волеизъявление этого государства.⁵ Подчинение требованиям ультиматума, невыполнение которых повлечет за собой реальную угрозу насилия, ни в коем случае нельзя рассматривать как свободное волеизъявление.

Правительство Латвийской Республики, принимая 16 июня 1940 года ультиматум Советского Союза — т. е. соглашаясь на смену правительства и ввод неограниченного контингента советских войск, — поступило не добровольно, а подчиняясь реальной угрозе противоправного советского насилия. Если бы правительство Латвийской Республики отклонило бы эти требования, то, как косвенно

³ Текст ультимативной ноты Советского Союза опубликован: «Известия», 17 июня 1940 г.

⁴ Если ввод войск в другое государство происходит против воли этого государства, но без военного сопротивления, то его обозначают как мирную оккупацию (*occupatio pacifica*), если другое государство оказывает военное сопротивление — как военную оккупацию (*occupatio bellica*). Так, например, летом 1940 года Германия мирно оккупировала Данию (датские войска не сопротивлялись вторгшимся немецким войскам), в то время как оккупация Польши в 1939 году произошла в результате войны. Для международно-правовой квалификации оккупации несущественно, происходила ли она мирным путем или в результате военных действий. Тем самым международно-правовой статус оккупированной страны и у Польши, и у Дании был одинаков. Поэтому неуместен высказываемый иногда упрек правительству Латвии, что оно не дало армии приказ оказать сопротивление вторгшимся частям Красной Армии, потому что перед несоизмеримым перевесом сил так или иначе не удалось бы отстоять государственную независимость, а на дальнейшее правовое положение Латвии это военное сопротивление не оказало бы влияния.

⁵ Конечно, понятие «свободное волеизъявление» условно: если субъект воли должен сделать выбор из нескольких альтернатив, из которых одна, как это обычно бывает, лучше, а другие — хуже, то эти объективные обстоятельства, конечно, влияют на его выбор. Если же, наоборот, у субъекта осталась только одна альтернатива, которую он выбирает, чтобы избежать другой альтернативы, которая была бы результатом противоправного действия, то такой «выбор» нормативно уже не считается свободным. Классический пример — «выбор» жертвы на вопрос грабителя: «деньги или жизнь», отдача денег — это не проявление свободной воли жертвы, потому что вторая альтернатива — утрата жизни — была бы результатом противоправного действия грабителя. Основопологающим принципом любых правовых категорий, как международно-правовых, так и гражданско-правовых, является то, что подобное вынужденное (не свободное) волеизъявление не влечет никаких юридических последствий, иначе это означало бы легализацию «закона джунглей». Поэтому и в приведенном примере, хотя грабитель и получил фактическую власть над деньгами, он не стал их законным владельцем. Этот основополагающий принцип является и составной частью международного права.

на это было указано уже в ноте, советские войска, применив противоправно насилие, так или иначе перешли бы границу Латвии. Это означает, что действия Советского Союза против независимой Латвийской Республики 16 и 17 июня 1940 года квалифицируются как интервенционистская оккупация (*occupatio interveniens*), что является одним из самых тяжелых преступлений международного права против суверенитета какого-либо государства.

Поэтому решение правительства Латвийской Республики от 16 июня 1940 года о принятии советского ультиматума нельзя более рассматривать как проявление свободного волеизъявления. Тем самым в соответствии с нормами международного права оно не имеет юридической силы и не может служить основой дальнейших правовых актов, особенно отставки Кабинета министров Латвийской Республики 17 июня 1940 года и составления нового Народного правительства 20 июня 1940 года во главе с Августом Кирхенштейном. Поэтому не имеют правовой силы законы и распоряжения Народного правительства до формального включения Латвии в состав Советского Союза 5 августа 1940 года, в том числе и его просьба о принятии Латвии в состав СССР, потому что это не результат проявлений свободной воли законного правительства Латвийской Республики⁶, а акты марионеточного правительства⁷, назначенного в результате реальной угрозы насильственных действий со стороны чужих войск. Правовые акты подобных марионеточных правительств международное право признает не имеющими силы.

III

Следовательно, Латвийская Республика 16 июня 1940 года потеряла правительство, которое объективно было способно поступать в соответствии со своей свободной волей. Погибла ли вместе с этим Латвийская Республика, перестала ли существовать!

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо немного углубиться в международную правовую теорию государства. В соответствии с ней государство составляют три элемента: территория, население и суверенная и эффективная государственная власть. В Латвии, как мы это можем эмпирически установить, 16 июня 1940 года прекратила существование суверенная и эффективная государственная власть Латвийской Республики. Однако государство в значении международного права понятие не только эмпирическое, но и нормативное, зависящее от абстрактно существующих прав и их признания или непризнания. Поэтому образование «государство» в понимании международного права в некоторых случаях продолжает существовать в правовом смысле, даже если реальная государственная власть больше не существует.

Международное право признает дальнейшее существование государства как правоспособного субъекта международного права, несмотря на то, что у него не хватает третьего элемента — суверенной и эффективной государственной власти, — в тех случаях, если эта государственная власть перестала существовать в результате осуществленной другим государством противоправной оккупации или аннексии. Такое правовое продолжение существования государства является логическим следст-

ствием общего запрета применения силы⁸: если применять силу против другого государства запрещено, то правоммерно, что нельзя считать как результаты этого правонарушения. Иначе это нарушение не имело бы никаких последствий. Такая — хотя и слабая — санкция за нарушение центральной нормы международного права соответствует общим интересам всех государств земли — укреплению мира.

Как уже было показано, интервенционистская оккупация Латвии 17 июня 1940 года была противоправной. Столь же противоправным было и последовавшее за оккупацией присоединение Латвии к Советскому Союзу 5 августа 1940 года. Так как это не было проявлением волеизъявления носителя суверенной, государственной власти Латвии — народа Латвии⁹, а лишь сделкой Советского Союза с им же назначенным марионеточным правительством в оккупированной Латвии¹⁰, то это противоправно навязанное присоединение с точки зрения международного права квалифицируемо как аннексия¹¹. Аннексия сегодня определяется как насильное территориаль-

⁸ До первой мировой войны каждое государство имело право на войну, о каком бы то ни было запрете на применение силы не могло быть и речи. Потом международно-правовая ситуация радикально изменилась. 27 августа 1928 года был подписан так наз. пакт Бриана — Келлога о запрете войны как международного политического средства. Этот запрет распространялся не только на «физическую» войну, но и на реальную угрозу войны или военной акции. Этот пакт поддерживали почти все тогда существовавшие государства, Латвия, СССР и Германия тоже. После войны Устав Объединенных Наций значительно расширил «сортимент» запрещенных средств насилия. Сегодня всеобъемлющий запрет на применение силы является одной из основных норм международного права.

⁹ Следует добавить, что в разработанном летом 1940 года советскими оккупационными властями сценарии преобразований в Латвии была допущена существенная юридическая ошибка: в соответствии со 2-й статьей Конституции Латвийской Республики от 15 февраля 1922 года, которая 15 мая 1934 года не была отменена, а лишь была приостановлена и которую продолжало признавать правительство Кирхенштейна, «в государстве Латвии суверенная власть принадлежит народу Латвии». Вступлением в состав Советского Союза правительство Кирхенштейна формально хотело прекратить существование суверенной Латвийской Республики с точки зрения международного права. Однако правомерно сделать это мог только носитель суверенной власти Латвийской Республики — народ Латвии, а не только парламент или правительство. Это означает, что в отличие от Курляндского герцога, который в 1795 году был вправе продать России свое герцогство (потому что тогда он был носителем суверенной власти своего государства), ни у одного парламента Латвии и ни у одного правительства не было (и сегодня нет) права без согласия народа «продать» латвийское государство другому государству, т. е. решать вопрос о вступлении в другое государство. Однако референдума о вступлении в Советский Союз не было. Конечно, и фальсифицированный референдум нельзя рассматривать как свободное волеизъявление народа, однако режиссеры сценария «присоединения», очевидно, вообще забыли подумать об этом существенном вопросе. Таким образом, Народный сейм и правительство Кирхенштейна, прося принять Латвию в состав СССР, формально нарушили права человека. Эту просьбу поэтому следует рассматривать как несуществующую, а закона СССР о присоединении другого государства недостаточно даже с точки зрения советского права, чтобы это присоединение считать осуществившимся.

¹⁰ Юридические сделки (соглашения), где обе стороны представляют один и тот же субъект (т. наз. самоконтракция), это «договор с самим собой». Такие договоры не имеют юридических последствий, потому что договоры означают сделку между двумя субъектами, по крайней мере. И «сделка» между правительством Кирхенштейна и правительством СССР не может рассматриваться как международный договор между правительствами двух государств. Правительство Кирхенштейна по уже упомянутым причинам нельзя считать выразителем суверенной воли Латвийской Республики, а лишь вспомогательным органом советских оккупационных властей — марионеточным правительством. Тем самым эта на самом деле сделка Советского Союза с самим собой не может рассматриваться в качестве международно-правового договора о включении Латвии в состав Советского Союза. И по этой причине тоже включение Латвии в состав Союза неправомерно с точки зрения международного права.

¹¹ Относительно этого единодушно практически вся международно-правовая литература мира. Только советская литература, исходя из искаженных исторических фактов, трактует присоединение прибалтийских государств к Советскому Союзу как добровольный акт, причем указанное в ссылке 9 противоречие просто умалчивается. Следует добавить, что советское международное правоведение точно так же, как современное международное правоведение других стран, принципиально не признает аннексии законной и не признает за ней юридической силы. В связи с реабилитацией исторических фактов о 1940 году эта теория теряет силу, и советским юристам, чтобы не запутаться в противоречиях, надо бы признать незаконным с точки зрения международного права факт аннексии и все вытекающие из этого факта юридические последствия.

⁶ Юридический факт, что деятельность народного правительства 20 июня — 5 августа 1940 года поэтому была незаконной и что она не имеет юридической силы, теперь официально признал и Верховный Совет Латвийской ССР, поддержав сообщения своей комиссии, которая должна была дать оценку политическим и правовым последствиям заключенного в 1939—1940 годах соглашения между Германией и СССР. См. Постановление Верховного Совета о работе этой комиссии, — «Спра», 15.11.1989, Сообщение комиссии. — там же.

⁷ Такими не признанными в международно-правовом отношении и марионеточными правительствами были, например, контролируемое японскими оккупационными властями правительство Маньчжурии в 1932—1945 гг., контролируемое немецкими оккупационными властями правительство премьер-министра Норвегии Квислинга в 1940—1945 гг.; сегодня такими являются правительства зависимых от Южноафриканской Республики «бантустанов» Транскей и Цискей.

ное приобретение за счет другого государства (против воли этого государства)¹². С 30-х годов, наряду с запретом применения силы, в международном праве укрепилось также всеобщее отрицание аннексии¹³. Таким образом, аннексия Латвийской Республики 5 августа 1940 года была противоправной.

Следовательно, хотя в Латвийской Республике с 17 июня 1940 года в результате противоправной оккупации и последующей аннексии больше не существует суверенная и эффективная государственная власть, это еще не значит, что Латвийская Республика перестала существовать.

Однако международное право образуется не только юридической наукой, но, главным образом, практикой государств. Государства мира своей практикой — подобно законодателью во внутригосударственном праве — образуют нормы международного права. Но, в отличие от внутригосударственного права, которое создается обычно только одним законодательным органом, в международном праве много «законодателей» — отдельных государств. Всеобщая норма международного права поэтому образуется или отменяется только тогда, когда по какому-нибудь вопросу можно установить одинаковую практику всех или хотя бы почти всех государств мира.

Как мы уже констатировали, изначально оккупация и аннексия прибалтийских государств были объективным нарушением существовавших тогда норм международного права. Так как международное право не признает подобные нарушения, то тем самым прибалтийские государства нельзя считать погибшими еще в 1940 году. Однако они могли бы погибнуть позже, если бы практика государств мира привела к отмене существовавшей до сих пор нормы международного права о запрете применения силы. Это могло бы произойти только в том случае, если бы было установлено, что все или почти все страны мира признали аннексию прибалтийских государств.

Однако мировая государственная практика показывает, что не может быть и речи о каком бы то ни было признании противоправной аннексии прибалтийских государств. В соответствии с т. наз. доктриной Стимсона¹⁴ почти все западные страны — в том числе США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия, Канада и Япония — не признают прибалтийские советские республики узаконенной составной частью Советского Союза, а в соответствии с нормой международного права об отрицании аннексии считают, что по-прежнему существуют независимые прибалтийские государства. Некоторые правительства даже отзывались сделанные предшествующими правительствами акты признания аннексии — так, например, Франция, чтобы устранить возможные неясности, в 1982 году провозгласила, что не признает аннексию прибалтийских государств, хотя в 1940 году правительство режима Виши (немецких марионеток) ее признало. Австралийское правительство, в 1972 году признавшее аннексию, в 1975 году отозвало это признание. Правительства и других государств — в том числе имеющих мало связей с Прибалтикой, например, Италии, Португалии, Люксембурга и др. — в последние годы, чтобы предотвратить неясность, открыто декларировали непризнание аннексии. Следует добавить, что и Хельсинкские соглашения 1975 года не означают фактического признания аннексии, так как в них лишь провозглашено, что послевоенные границы в Европе нельзя изменять насильственно — тем самым допускается изменение границ мирным путем.

¹² Wörterbuch des Völkerrecht hrsg. v. Karl Strupp u. Hans — Hürgen Schlochauer, 2 Aufl., Bd. I, Berlin 1960.

¹³ См. Günther Schlutz: Die Entwicklung des völkerrechtlichen Annexionsverbots. — Jahrbuch der Albertus — Magnus — Universität zu Königsberg, Bd. XII, 1962.

¹⁴ Стимсон был министром иностранных дел США, который 7 января 1932 года в нотах правительствам Японии и Китая декларировал, что США не признают легитимитет японской оккупационной власти на территории Китая. Когда 18 февраля 1932 года Япония, чтобы «обмануть» международное право, провозгласила там свое марионеточное государство — Маньчжоу-го, — США отказались признать и это государство.

Таким образом, международный правовой статус независимых прибалтийских государств с годами не только не ослабевает, как это можно было бы ожидать, а, наоборот, укрепляется¹⁵.

Тем самым мы можем констатировать, что Латвийская Республика в 1940 году не перестала существовать, а все еще является независимым государством — правоспособным (но пока еще не дееспособным) субъектом международного права¹⁶.

IV

Сразу же возникает вопрос — что такое тогда Латвийская ССР? Ответ дает последовательное применение международного права и государственного права СССР.

Как следует из того факта, что Латвийская Республика продолжает существовать, территория, которую мы обозначаем Латвией, является территорией независимой Латвии. К этой территории относится и Абренская область, которую в 1944 году советские власти включили в состав РСФСР. В соответствии с нормами международного права относительно исключительного суверенитета государства на своей территории, только государственная власть Латвийской Республики имеет право управлять этой территорией.

На этой территории создано новое образование — Латвийская ССР, по Конституции СССР (и своей собственной) являющаяся составной частью государства СССР. Тем самым это означает, что Латвийская ССР является государственно-территориальным образованием СССР, которое, вопреки нормам международного права, создано на территории независимой Латвийской Республики как составная часть государства Советского Союза и которое там эффективно реализует государственную власть Советского Союза¹⁷. Органы государственной власти Латвийской ССР, как избранные населением Верховный Совет, местные Советы, так и производные от них (Совет Министров, исполкомы), с точки зрения международного права, образуют систему самоуправления жителей Латвии. Это, организованное в соответствии с советским внутригосударственным правом, самоуправление Латвии представляет и реализует государственную власть СССР.

То, что Латвийская ССР в соответствии с Конституцией Советского Союза и своей собственной провозглашена «суверенным» государством в составе Советского Союза, с точки зрения международного права не имеет никакого значения. Одно суверенное государство не может быть составной частью другого суверенного государства (см.

¹⁵ Не следует полагать, что в обозримом будущем противоправная аннексия прибалтийских государств будет признана. Запрет аннексии был важным шагом вперед в области международного права, главной тенденцией развития которого в этом столетии является обеспечение мира и равноправия государств. Так как международное право в значительной мере является правом прецедента, то признание законности противоправной аннексии прибалтийских государств — даже если это произойдет через несколько десятков лет — могло бы создать отрицательный прецедент, который противоречил бы генеральной линии развития международного права. В мире есть и другие случаи, когда уже длительно не признается противоправная аннексия. Так, например, Израиль сразу после т. наз. шестидневной войны 1967 года аннексировал Восточный Иерусалим. Эту аннексию ни одно государство мира не признает, и нет никаких признаков того, чтобы какое-либо государство собиралось это сделать. Декларированная в доктрине Стимсона политика непризнания противоправной аннексии является (хотя и слабым) все же давлением на агрессора. Не в интересах мирового сообщества государств отказываться от этого инструмента укрепления мира. Существует также мнение, что признание аннексии само по себе является противоправным актом и поэтому не может привести к легитимации первоначально противоправной аннексии.

¹⁶ В таком положении во время второй мировой войны находились, например, и те многие европейские страны, которые были противоправно оккупированы Германией. В них во всех после второй мировой войны была восстановлена государственная власть, так как они в промежутке не считались погибшими, то и не считались вновь созданными.

¹⁷ В аналогичной ситуации сейчас находится созданное Израилем городское управление Восточного Иерусалима. Во время второй мировой войны такой же международно-правовой статус был, например, у немецкого правления на территории аннексированной Австрии; а также в присоединенных к Германии районах Польши и Чехословакии.

выше). Государством в понимании международного права признаются такие образования, которые не только по названию и своей формальной конституции, но и по нормативно-эмпирически проверяемой сути соответствуют критериям государства: у них есть своя территория, свое население (граждане) и своя эффективная и независимая государственная власть. Нормативно-эмпирически проверяя реальную ситуацию в союзных республиках СССР, мы обнаруживаем, что до недавнего времени они не могли выполнить ни одного из этих предварительных условий, чтобы было возможно считать их государствами¹⁸. То, что союзные республики СССР до сих пор нельзя было считать суверенными государствами, само собой разумеется. Все же можно задать вопрос, была ли у них до сих пор своя государственность хотя бы в какой-нибудь низшей форме.

В понимании международного права, государственность возможна в двух формах: как суверенное государство и как государственность несuverенного государства.

1. Суверенным является такое государство, государственная власть которого ни в правовом, ни в политическом отношении не зависит от другого государства и подчиняется лишь международному праву.

2. Несуверенное государство, наоборот, в правовом отношении зависит от другого государства.

а) Несуверенные государства — это, во-первых, самоуправляющиеся административно-территориальные единицы федеративных государств: в США их зовут штатами, в Швейцарии — кантонами, в ФРГ — землями. Для них характерно, что они не имеют права регулировать все области общественной жизни (т. наз. компетенция — т. е. право решить любой, в том числе и до сих пор не предусмотренный формальным правом вопрос), но оно все же имеет исключительное право (т. е. независимо от центральных органов федерального государства) регулировать по крайней мере некоторые важные области. Земли ФРГ, например, обладают исключительным правом регулировать все вопросы культуры и образования; федеральный парламент и правительство не вправе принимать законы и другие нормативные акты по этим вопросам, и они не могут отменить принятые землями по этим вопросам законы и другие нормативные акты;

б) Несуверенным государством является также протекторат (сегодня еще: Монако и Бутан) или ассоциированное государство (Пуэрто-Рико). Обычно они могут совершенно самостоятельно решать все внутренние вопросы, а иностранные дела и оборона по договору передаются в ведение другого государства.

3. Напротив, марионеточное псевдогосударство (Манчжурия 1932—1945, Словакия 1941—1945) вообще не государство, потому что у него, несмотря на формальное право и все атрибуты суверенного государства (конституция, правительство, парламент, законодательство и т. д.), отсутствует, хотя бы и ограниченная, возможность реализовать свою волю (от марионеточных псевдогосударств следует отличать марионеточные правительства в оккупированных государствах, как Норвегия 1941—1945 или Латвия с 17.06.1940: это существующие государства без своего правительства, потому что марионеточные правительства — орган не оккупированного государства, а оккупирующего).

Государством не является также режим *de facto*, хотя и эффективно реализующий свою суверенную власть, но который не признают все или почти все государства мира. Таким режимом *de facto* был режим белого меньшинства в британской колонии Родезия (1965—1979), которое в 1965 году в одностороннем порядке провозгласило независимость и где фактически осуществляло свою власть.

4. Не обладают государственностью административно-территориальные единицы государств, например, департаменты во Франции, графства в Великобритании, уезды в ФРГ, воеводства в Польше и т. д. От составных частей

федеральных государств они отличаются тем, что не имеют права сами регулировать какие-то области жизни — любые их решения могут отменить высокие инстанции центральной власти или составной части федерального государства, их удел исполнять волю стоящего над ними государства.

Будучи включенными в унифицированную политическую систему тоталитарного государства, союзные республики СССР — несмотря на декларированный Конституцией суверенитет, — не могли проявлять даже характерные для несuverенной составной части федерального государства признаки государственности. Им не было выделено хотя бы несколько отраслей, которыми бы управляли исключительно они, потому что Конституция СССР предусматривает, что центральные органы могут отменить любое решение или закон.

Следовательно, союзные республики СССР до сих пор были административно-территориальными единицами унитарного и централизованного советского государства¹⁹ — в случае прибалтийских республик, — к тому же противоправно созданными на территории чужих государств. Международное право нельзя обмануть, назвав какую-нибудь административно-территориальную единицу «суверенным государством»: если, например, в конституции Франции записали бы, что департамент Луары является «суверенным государством в составе Франции», префект переименован в премьер-министра и т. д., а фактическая политическая система осталась бы без изменения²⁰, то, конечно, не стоит надеяться, что мир безизменяет его «суверенным государством». Столь же наивно это ожидать в случае с союзными республиками СССР. **Международное право нельзя обмануть правовыми бутфорками, его смысл — выяснение сути дела.**

V

С 1988 года органы государственной власти прибалтийских советских республик несомненно стремились реализовать и реализовывать свою политическую волю. В правовом смысле эта автономная политическая воля достигла пока кульминации в декларациях суверенитета. Верховный Совет Эстонской ССР принял таковую уже 16 ноября 1988 года, Верховный Совет Литовской ССР — 18 мая 1989 года, и Верховный Совет Латвийской ССР — 28 июля 1989 года. В соответствии с этой Декларацией «на территории Латвийской ССР признается верховенство законов Латвийской ССР. Законы СССР на территории Латвии вступают в силу только после их ратификации высшим органом государственной власти Латвийской ССР». Не слишком последовательно этот принцип учтен в последовавших за Декларацией поправках к Конституции Латвийской ССР особенно (см. статью 71 в новой редакции).

Теперь, ради простоты, оставим поле деятельности международного права и, только исходя из внутригосударственного права СССР, проверим, можно ли Латвийскую ССР рассматривать как суверенное государство, хотя бы только в контексте советского права.

Поэтому попытаемся юридически проанализировать государственно-правовую ситуацию, создавшуюся после принятия Декларации суверенитета и соответствующих поправок к Конституции Латвийской ССР.

Чтобы какое-либо образование можно было квалифицировать как суверенное государство, оно, во-первых, само должно правомерно декларировать²¹ себя таковым,

¹⁹ *Op. cit.*

В особом положении находятся только Украинская и Белорусская ССР, которые, как члены ООН, признаны частичными субъектами международного права.

²⁰ Франция является демократическим, но унитарным государством. Ее департаменты — лишь административно-территориальные единицы, не имеющие своей государственности.

²¹ Какое-нибудь образование нельзя заставить стать государством, если оно само того не хочет: например, Тайвань объективно соответствует всем трем критериям государства (территория, население и суверенная, эффективная государственная власть), но он себя считает не суверенным государством, а всего лишь провинцией Китайской Республики, поэтому с точки зрения международного права Тайвань не является суверенным государством.

¹⁸ Henn — Jüri Uibopuu: Die Völkerrechtssubjektivität der Unionsrepubliken der UdSSR, Wien, New-York, 1975.

и, во-вторых, нормативно-эмпирическая проверка политической практики этого образования за определенный отрезок времени²² должна показать, что оно соответствует всем критериям государства: территория, население и суверенная эффективная государственная власть.

Рассмотрим, соответствует ли Латвийская ССР самому первому требованию: есть ли у нее правомерно своя территория? Своя территория означает, что соответствующему государству принадлежит полное и исключительное право территориального суверенитета, т. е. право управлять своей территорией в качестве единственного государства (см. выше).

И после принятия Декларации суверенитета, и после изменения Конституции Латвийской ССР, Латв. ССР по-прежнему остается составной частью государства СССР (см. статью 68). Территория Латвии по-прежнему одновременно является и территорией Советского Союза. Суверенное государство может быть членом международных организаций (например ООН или ЕЭС), но оно не может быть составной частью другого суверенного государства. Возникает вопрос — является ли СССР суверенным государством или только международной организацией? На этот, кажущийся абсурдным, вопрос не так-то легко ответить.

Прежде всего следует уяснить отличие федерации от конфедерации.

1. Федерация — это суверенное государство, которое свои внутренние компетенции распределило между центральными органами и органами его составных частей. Составные части федерации обычно (могут быть и исключения) не могут без согласия центральных органов изменить свою конституцию или выйти из федерации. Федерация же, наоборот, может сама без согласия составных частей изменить свою конституцию и в одностороннем порядке ограничить права составных частей и даже вообще их упразднить.

У составных частей может быть своя государственность, но это не суверенные государства, и обычно они не являются субъектами международного права. В порядке исключения они все же могут стать правоспособными субъектами международного права, а именно тогда, когда это разрешено конституцией соответствующего федерального государства и если другие государства их признают. Такая субъективность международного права, конечно, не полная, а только частичная (т. е. лишь настолько, насколько это позволяет федеральная конституция) и партикулярная (т. е. только в общении с тем государством, которое ее признало). Такая субъективность международного права, согласованная с федеральной конституцией, допускается и во многих случаях признается, например, для земель ФРГ и кантонов Швейцарии, но не для штатов США и не для земель Австрии. По историческим причинам из всех союзных республик СССР только Украинская и Белорусская ССР признаны частичными субъектами международного права (члены — учредители ООН). Теоретически и другие союзные республики, кроме прибалтийских, могли бы стать таковыми, если другие государства признали бы их и вступили бы с ними в международные правовые отношения. В случае прибалтийских республик это маловероятно, так как они как составные части СССР образованы на территории других государств в нарушение норм международного права.

2. В противоположность этому, конфедерация — не государство, а международная организация. Ее члены остаются суверенными государствами и тем самым являются полноправными субъектами международного права, даже если они часть своих компетенций передали в ведение центрального органа конфедерации. Они в любой

момент могут эти свои компетенции отозвать. Члены конфедерации могут свободно — без согласия органов конфедерации — менять свою конституцию. Конфедерация же не может сама, без согласия всех членов, изменить конституцию.

Является ли СССР по своей Конституции федерацией или конфедерацией? Тут надо констатировать, что Конституция СССР внутренне противоречива: с одной стороны, она формально провозглашает суверенитет республики (ст. 76), с другой стороны — практически сведены к нулю права республик самим решать вопросы жизни общества, без того, чтобы центральные органы СССР могли их решения отменить (так наз. *nudum ius*).

Конституционная история СССР показывает, что формально союзные республики никогда не отказывались от своего изначального суверенитета, а если и согласились — то только на сведение к нулю фактического содержания своего суверенитета, тем не менее оставляя за собой свои суверенные права как таковые (*nudum ius*). Ленин тоже первоначально предполагал СССР как основанную на договоре конфедерацию союзных республик. Союзный договор от 30 декабря 1922 года никогда не денонсировался, хотя сталинская Конституция 1936 года и ныне действующая брежневская Конституция 1977 года, принятые без формального согласия всех республик, по сути дела нарушили этот договор. У прибалтийских республик есть еще дополнительная проблема: они этот договор никогда не подписывали. Однако республики, опираясь и на 76-ю статью, надо бы считать правомочными разрешить это противоречие Конституции СССР таким образом, чтобы они этот свой юридически полностью «опустошенный» суверенитет опять «заполнили». В связи с этим Конституцию СССР следует исправить, чтобы она была созвучна конституциям союзных республик, которые в случае СССР, с точки зрения государственного права, были бы примарными.

Как видно, конституционное право СССР не дает однозначного ответа на вопрос, является ли СССР юридически федерацией — значит суверенным государством, или конфедерацией — значит только международной организацией. Только во втором случае теоретически может быть допущена вероятность того, что Латвийская ССР является суверенным государством, конечно, если были бы выполнены и все остальные условия (и если пока не принимать во внимание осложнения в связи с ее незаконностью с точки зрения международного права — об этом дальше). Однако это означало бы, что соответственно следовало бы изменить Конституцию СССР, которая непременно должна бы и формально последовательно и во всех случаях признать приоритет права республик над правом союза²³. На такое изменение Конституции СССР Латвийская ССР имеет право, вытекающее не только из Конституции Латвийской ССР, но и из самой Конституции СССР²⁴.

В случае, если какая-нибудь составная часть (Латвийская ССР) государственного образования (СССР) в одностороннем порядке интерпретирует это образование как конфедерацию (т. е. международную организацию), в то время как она сама по-прежнему считает себя федерацией (т. е. государством), сомнительно, чтобы юридически было возможно дать преимущество такой пока только односторонней интерпретации «снизу». Пока мы можем только констатировать, что существует конституционный конфликт между СССР и Латвийской ССР и что Латвийская ССР имеет право односторонне «наполнить» факти-

²³ Если бы СССР превратился в конфедерацию суверенных республик, тогда, среди прочего, следовало бы ликвидировать также общее гражданство СССР, потому что гражданство может быть только у государств, а не у международных организаций.

²⁴ В этом направлении, но очень непоследовательно идут также предложения о поправках к Конституции СССР, которые подал Верховный Совет Латвийской ССР 6 октября в Верховный Совет СССР, см. «Стр», 18.10.89. Как известно, Верховный Совет СССР эти предложения отклонил и, исходя из приоритета Конституции СССР, требует изменить конституцию прибалтийских республик и впредь признавать приоритет Конституции и законодательства СССР, см. «Стр», 12.11.89.

²² Государствами нельзя считать кратковременные образования. Эти образования должны быть стабильными, долговечными — поэтому признание новых государств, если их существование проблематично, часто происходит только после того, как они разрешили все внутренние и внешние конфликты. Также и Латвийская Республика была полностью признана *de iure* только в 1921 году, после победы в Освободительных боях.

ческим содержанием свой до последнего времени лишь формальный суверенитет, однако до тех пор, пока СССР это право не признает, мы не можем говорить, что СССР уже сейчас только конфедерация. Следовательно, пока этот конституционный конфликт не будет решен положительно в пользу конфедерации и Конституция СССР не будет согласована с конституциями союзных республик (а не наоборот!), до тех пор у Латвийской ССР не будет прежде всего признанного и обеспеченного юридического основания своему государственному существованию — своего исключительного территориального суверенитета.²⁵

Главным все же является то, что Латвийская ССР до сих пор еще не смогла фактически обеспечить свой исключительный территориальный суверенитет. Государственные органы Латвийской ССР не единственные, кто осуществляет на территории Латвии государственную власть: центральные органы СССР также постоянно реализуют здесь акты своей власти (например, на предприятиях, подчиненных центральным ведомствам). Кроме того, и высшие органы власти Латвийской ССР, например, Совет Министров, — все еще в порядке субординации выполняют решения центральных органов СССР — например, Совета Министров СССР. Значит, у Латвийской ССР нет и своей суверенной государственной власти — т. е. такой власти, которая действовала бы только в соответствии со своей свободной волей (и тем самым не выполняла бы в порядке субординации никаких распоряжений государственных органов других государств).

VI

Однако рассмотрим теперь гипотетический случай: если после выборов новое правительство будет последовательно выполнять Декларацию суверенитета, Конституцию Латвийской ССР и действительно длительно и непрерывно будет поступать как правительство независимого государства, оно не допустит, чтобы государственные органы другого государства непосредственно реализовывали на территории Латвии акты своей власти, и оно само не будет выполнять никаких распоряжений со стороны — безразлично, исходили бы они из Токио или Москвы (а если таковые придут, то любезно отправит их назад со ссылкой на Декларацию суверенитета). Такой гипотетический случай, конечно, возможен, только если центральные государственные органы СССР не ликвидируют Верховный Совет и правительство Латвийской ССР военными и полицейскими силами.

В таком случае с точки зрения права возможны три варианта:

1. Латвийская ССР формально остается составной частью СССР, т. е. она не провозглашает свою независимость в смысле международного права, а правительство СССР признает такую самостоятельность государственных органов Латвийской ССР и приоритет ее законодательства, соответственно изменяя свою Конституцию.

В таком случае Латвия получила бы автономное и в известной степени демократически легитимированное²⁶

²⁵ В данной ситуации на исключительный территориальный суверенитет на территории все еще существующего, согласно международному праву, но недееспособного латвийского государства, в соответствии со своей Конституцией, претендуют и СССР, и Латвийская ССР — два государственных образования, чье качество государственности весьма сомнительно. Эта довольно-таки курьезная юридическая ситуация сложна, по крайней мере так же, как берлинская ситуация (в Берлине формально считается оккупационный статус, и там тоже стиливаются по крайней мере три различные интерпретации — западные страны, ФРГ и СССР вместе с ГДР интерпретируют статус Берлина по-разному). Но дискутируемые здесь юридические проблемы отнюдь не одни лишь абстракции, потому что с ними связаны очень конкретные государственно-политические реалии, которые впрямую влияют на жизнь людей.

²⁶ С точки зрения демократической легитимизации, остается слабое место выборов, а именно, что в них участвуют не только граждане международно признанной Латвийской Республики, но и проживающие на территории Латвии иностранцы (граждане СССР), в том числе даже принадлежащие к размещенным там воинским частям СССР. В правовом государстве избирательное право при выборах в парламент (не в органы коммунального самоуправления) неразрывно связано с гражданством. По сути дела, в демократическом государстве это стало центральным смыслом гражданства (во всем остальном правовой статус иностранца можно приравнивать к статусу своих граждан).

самоуправление. Тем не менее это самоуправление формально по-прежнему будет государственным органом СССР, потому что территория Латвийской ССР одновременно будет и территорией СССР, — а как известно, одно суверенное государство не может быть составной частью другого суверенного государства. Распределение же компетенций между различными органами любого государства, а значит, и между территориальным самоуправлением Латвии и центральными органами СССР, наоборот, является вопросом внутрисовещественного права этого государства. Внутри страны органам территориального управления может быть дана полная самостоятельность, но, пока существует государственная связь с «центральным» государством, эта фактически самостоятельная часть территории внешне по-прежнему остается составной частью данного государства.

Можно все же задать вопрос, не следовало бы в таком случае считать отношения Латвийской ССР с СССР как с государством или же как с конфедерацией суверенных республик (т. е. если и другим республикам Конституция СССР предоставила бы такие же права) конфедеративными отношениями, которые (см. выше) дали бы возможность считать Латвийскую ССР суверенным государством, которое вкуче с СССР или другими республиками образует конфедерацию (т. е. международную организацию).

Тут следует констатировать, что на территории все еще существующей по нормам международного права Латвийской Республики нельзя образовать новое государство. Если бы на ее территории установилась какая-либо суверенная и эффективная государственная власть, это значило бы, что там возобновился этот, недостающий с 1940 года, третий элемент государства. Новая государственная власть не означает, что создается новое государство. Государство остается идентичным, если и меняется — или возобновляется — государственная власть. Новое правительство, общественный и политический строй не образуют нового государства — важно единственно то, что это государство, т. е. государственная власть действительно суверенна.

Конфедерация означает передачу больших или меньших компетенций в ведение конфедеративных органов, это могут быть, например, некоторые ограничения свободы внешнеполитических действий. Если бы Латвийская ССР была внутренне полностью самостоятельна и только во внешних связях выступала бы в рамках СССР, то и тогда это было бы «меньше», чем совершенно суверенное государство (также и в современном понимании суверенитета), которое во внешних международных отношениях репрезентирует непосредственно. Значит, образование конфедерации с СССР, какой бы большой ни была внутренняя автономия Латвийской ССР, в любом случае в сравнении с международно-правовым статусом Латвийской Республики было бы известной потерей суверенитета.

Но как мы уже констатировали, решать это вправе только носитель этой суверенности — народ Латвии, который образует сообщество граждан Латвийской Республики. Исключительно латвийский народ — его истинные граждане — вправе решать вопросы о суверенитете Латвии, о возможном отказе от него или же о его ограничении. За народ Латвии это не может сделать ни Верховный Совет, ни другие органы самоуправления. Это право у истинных граждан Латвии никто не может отнять.

Практически это значит, что в случае, если бы Москва решила создавшийся конституционный конфликт в сторону практически полной самостоятельности Латвии, без огорок признавая в своей Конституции суверенитет Латвийской ССР и соответствующий ей приоритет законодательства Латвийской ССР, то это решение надо было бы еще утвердить истинным гражданам Латвийской Республики путем референдума. Если бы они большинством голосов утвердили его, то Латвийская Республика, частично ограничивая свой суверенитет как Латвийская ССР, с точки зрения международного пра-

ва корректно создала бы с СССР конфедерацию. Латвийская ССР тогда стала бы идентична Латвийской Республике. Только в таком случае она могла бы быть признана владелицей находящегося за рубежом золота Латвийской Республики. Совершенно ясно, конечно, и то, что к участию в подобном референдуме были бы допущены только истинные граждане Латвийской Республики. Участие граждан СССР и дислоцированных в Латвии военнослужащих СССР, а также какие-либо ограничения или препятствия агитации за или против такого решения этот референдум, разумеется, сделали бы недостойными, поскольку это не было бы изъятием доброй воли граждан Латвийской Республики. Но референдум граждан Латвийской Республики является единственной возможностью легитимировать нахождение Латвии в составе СССР на данный момент.²⁷ Это значит, что, пока референдум граждан Латвийской Республики не утвердит такое решение, положение с точки зрения международного права останется неизменным. Государственные институты Латвийской ССР останутся совокупностью принадлежащих СССР государственных институтов, которая как автономное самоуправление незаконно реализует государственную власть СССР на территории Латвийской Республики. По вышеупомянутым причинам вероятность получения международного признания этой легализованной СССР и внутренне самостоятельной Латвийской ССР будет весьма мала.

2. Теперь о втором варианте: правительство Латвийской ССР согласно своей Конституции и Декларации суверенитета действует совершенно самостоятельно, но Латвийская ССР формально остается составной частью СССР, т. е. она не провозглашает свою независимость в международно-правовом смысле. Правительство СССР хотя и не ликвидирует насильно такую фактическую самостоятельность государственных органов Латвийской ССР, но, в отличие от первого варианта, не признает ее и считает незаконной.

Если такое положение стабилизируется на длительный период, то с точки зрения международного права его надо будет рассматривать как режим *de facto* (так же, как на Тайване). Так как государственные органы Латвийской ССР в этом варианте не декларировали бы, что Лат-

вия — независимое государство вне СССР, то против воли самого режима его нельзя признать суверенным государством, даже если он фактически реализует свою независимую, государственную власть. Хотя в практике новейшего международного права режим *de facto* признается частичным субъектом международного права, однако его правоспособность ограничивается тем, что управляемая режимом *de facto* территория не рассматривается как территория без государственности, ее нельзя оккупировать. Тем самым он пользуется защитой международного запрета применения силы, однако более широкие права за ним не признаются.

3. Вновь избранные органы государственной власти Латвийской ССР длительно и преемственно фактически реализуют свою суверенную государственную власть и впоследствии когда-нибудь формально декларируют, что Латвия — независимое государство, а не составная часть СССР.

С точки зрения международного права в таком случае на территории Латвийской Республики образовалась бы суверенная и эффективная государственная власть — то есть недостававший, кроме территории и населения, третий элемент государства. Это означало бы, что автоматически восстановилась бы международно признанная Латвийская Республика.²⁸ Как прецеденты такого реконституирования государства (*re-establishment*) можно упомянуть Австрию, Чехословакию, Эфиопию и Албанию, которые так же, как Латвия сегодня, были не только оккупированы, но и противоправно аннексированы (причем, в отличие от случая Прибалтики, большинство государств это признало).

В этом случае независимому государству Латвии не потребовалось бы новое признание. Правда, признание нужно было бы новому правительству. Оно было бы признано, если бы его признал и СССР. Если бы СССР его не признал, то западные страны, наверное, выждали бы какое-то время, чтобы установить, является ли эта новая государственная власть устойчивой и длительной, и процесс признания на некоторое время затянулся. В промежутке эта власть, с точки зрения международного права, должна, как и во втором случае, квалифицироваться как режим *de facto*.

Юридическое преимущество международно-правовой ситуации балтийских государств по сравнению с другими союзными республиками СССР заключается в том, что они, чтобы демократично и правомерно легитимировать свою независимость, не должны обязательно проводить референдум. Для начала процесса признания достаточно простой декларации парламента и правительства о том, что на их территории восстанавливается суверенная власть уже независимой и международно признанной Эстонии, Латвии или Литвы. Тем самым было бы ликвидировано длительное нарушение международного права (обязательный же референдум, наоборот, следовало бы проводить о вступлении в Советский Союз, а не о выходе, см. выше). Однако, как видно, путь к независимой Латвии — что юридически автоматически означало бы реконституирование Латвийской Республики — в любом случае идет через реализацию фактической, суверенной и эффективной государственной власти. Тогда завершение процесса восстановления независимости — международное признание — последует в более короткий или длительный срок после формального провозглашения этой независимости.

²⁸ Неверна высказываемая иногда весьма примитивная мысль, что тогда автоматически должно возродиться и ульманисовское время, т. е. восстановилось бы политическое и юридическое положение, существовавшее 17 июня 1940 года. В восстановленном государстве новая государственная власть сама решит, какое право до разработки новых правовых норм будет перенято от независимой Латвийской Республики до 17 июня 1940 года и какое, возможно, из промежуточного советского периода.

²⁷ Похожее предложение незадолго до своей смерти сделал осенью 1989 года академик Андрей Сахаров: «Для решения вопроса национального самоопределения нерусских народов надо, прежде всего, провозгласить независимость каждой союзной и автономной республики, а затем надо дать их населению возможность или сохранить эту независимость, или соединиться в новую федерацию или конфедерацию. Объективно это единственный выход, который действительно решил бы, а не подавил вопрос о самоопределении народов СССР». По словам одного из лидеров демократически настроенной «межрегиональной парламентской группы» Александра Казанника, такое решение полностью поддерживают около 300 (до 350) из 2250 народных депутатов СССР, см. интервью с Казанником — «Literatūra un Māksla», 9.12.1989.

Такое последовательное решение, конечно, пока неприемлемо для имперского ориентированного «агрессивно послушного» большинства народных депутатов, однако развитие общественной мысли в России и в других республиках в этом направлении находится еще только в начале пути. Модернизируясь, Советский Союз рано или поздно не сможет уйти от решения этого вопроса. Советскому Союзу, вслед за другими колониальными государствами, придется дать подавленным в ходе истории народам возможность свободного выбора. Во Франции де Голль понял это сам и «свернул», в течение четырех лет (1959—1963), преодолевая значительное противодействие консервативных сил, ликвидировал французскую империю; изменение английского общественного мнения и в результате этого начавшаяся ликвидация империи происходили почти столь же стремительно, однако, постепенно восприимчивая демократические идеи, и общественная мысль России поймет, что СССР, как основанное на принуждении государственное образование, является историческим анахронизмом, препятствующим модернизации всех народов СССР, в первую очередь — русского. Поэтому это предложение Сахарова и значительную его поддержку со стороны прогрессивных народных депутатов СССР следует рассматривать только как начало соответствующего процесса формирования общественного мнения, содействие которому было бы одной из важнейших задач политических сил Латвии.

Согласится ли народ Прибалтики на вариант конфедерации или предпочтет сохранить в отношениях с Советским Союзом статус дружественного, но независимого государства, это уже другой вопрос. Многие другие народы, например народы Средней Азии, скорее всего, выберут федеративные или конфедеративные отношения с Россией.

Теперь вернемся к первоначальному вопросу о находящемся за границей золоте Латвии. Оно в 1940 году принадлежало Латвийской Республике. Мы установили, что она не погибла, а с точки зрения международного права еще сегодня существует как независимое государство и тем самым как правомочный субъект международного права.²⁹ Следовательно, независимая Латвийская Республика по-прежнему является законной владелицей своего золота. Если кто-то его у нее отнимает — как Великобритания в 1968 году, — он совершает международно-правовое преступление и несет за это ответственность.³⁰ Хотя Латвийская Республика по-прежнему полноправный субъект международного права, с 16 июня 1940 года она больше не дееспособна, потому что у нее нет своей суверенной и эффективной государственной власти. Тем самым она не может распоряжаться этим своим золотом, оно по-прежнему остается заблокированным до тех пор, пока на территории Латвийской Республики опять не будет возобновлена суверенная и эффективная государственная власть.

При этом Латвийская ССР не является правопреемницей Латвийской Республики, потому что Латвийская Республика не погибла. До тех пор, пока она, во-первых, не реализует свою суверенную государственную власть и, во-вторых, формально не декларирует, что не является составной частью СССР, с точки зрения международного права она остается противоправной совокупностью институтов государственной власти СССР (территориальное самоуправление) на территории Латвийской Республики. Даже если это территориальное самоуправление Латвии и получит больше компетенций за счет центральных органов СССР, все же оно не может получить международного признания, потому что противоправно образовано на территории чужого государства. До тех пор она не может рассматриваться как владелица находящихся за границей золотых и валютных запасов Латвийской Республики.

VIII

Однако в случае, если вновь избранные органы государственной власти Латвийской ССР — Верховный Совет и созданный им Совет Министров — длительно и последовательно будут фактически реализовывать свою суверенную власть и затем формально декларируют, что Латвия не является составной частью СССР, то вновь образованная государственная власть была бы государственной властью восстановленной Латвийской Республики. В настоящее время это, пожалуй, самый реальный путь реконституирования Латвийской Республики.

Использование органов самоуправления в процессе восстановления независимости не означает международно-правовой легитимации Латвийской ССР как составной части СССР. Однако их преимущество в политической борьбе за восстановление независимости Латвии состоит в том, что они могут опираться и на советское конституционное право — так как «отцы» нынешней советской Конституции, Сталин и Брежнев, очевидно, не предполагали возможность подобного случая, они оставили эту формальную возможность в Конституции СССР в качестве «макияжа». Чтобы рассеять любую неясность, вновь из-

²⁹ С точки зрения международного права, все еще действует законодательство Латвийской Республики, особенно закон о подданстве от 23 августа 1919 года (опубликован: «Атмода» № 30, 17.7.1989), и оно, в соответствии с нормами международного права, практически применяется в тех странах, которые не признают противоправной аннексии (чаще всего — в делах по вопросам семьи, брака и наследования).

³⁰ Это хорошо осознавало правительство Великобритании, противоправно присваивая в 1968 году золото прибалтийских государств. Однако оно не учитывало, что вскоре могут восстановиться правительства независимых прибалтийских государств и потребовать от Великобритании возмещения ущерба. Поэтому представитель правительства Великобритании пояснил в парламенте, что если прибалтийские государства будут восстановлены, то они смогут обратиться по этому вопросу к британскому правительству, см. I. Bredrichs «Baltijas zelts un Anglijas intereses».

бранный Верховный Совет мог бы даже провозгласить особо, что он поддерживает проводимую западными странами политику непризнания противоправной аннексии балтийских государств. В переходный период, до формальной декларации восстановления независимости, органы самоуправления Латвии должны получить исключительную, эффективную и суверенную власть на территории Латвии. В этом процессе восстановления независимости Латвии органы самоуправления Латвии должны строго вести свою политику, следует попытаться убедить Москву в преимуществах существования независимых прибалтийских государств прежде всего для самого Советского Союза, а также добиться начала переговоров с Москвой по этому вопросу. Так как прибалтийский вопрос является и международным вопросом, то в этих переговорах, если Москва на них пойдет, желательно и международное участие. А если Верховный Совет Латвийской ССР не может или не хочет идти этим путем, то все еще остается, с правовой точки зрения, более правовой, но труднее реализуемый путь гражданских комитетов.

Страстные дискуссии 1989 года о международно-правовом статусе Латвии, в ходе которых были и некоторые недоразумения, все же в итоге дали идее независимости Латвии в правовом отношении верную и политически крепкую основу. Как подчеркнул в своей речи 18 ноября 1989 года Янис Петерс, теперь «только юридически безграмотный человек может отрицать de jure статус Латвийской Республики, так как Латвия является субъектом международного права». С удовлетворением можно констатировать, что большинство демократических сил в Латвии, несмотря на первоначальные тактические разногласия, добились широкого консенсуса, что, учитывая особую международно-правовую ситуацию Латвии и опираясь на нее, необходимо использовать и выборы органов Латвийской ССР (т. е. территориального самоуправления), чтобы способствовать восстановлению эффективной и суверенной государственной власти Латвии.

Это осознание объективно правового факта, вошедшее в политическую орбиту Латвии, теперь надо попытаться привить и мировоззрению политических руководителей и большинству населения Советского Союза: Горбачеву³¹, народным депутатам СССР, русской общественности следует посмотреть в глаза реальности и признать, что статус прибалтийских республик объективно иной, нежели, например, статус Казахстана. Этот статус — наряду с правом наций на самоопределение — является дополнительной опорой стремлениям народов Прибалтики к независимости и демократизации.

С этим политически наиболее выгодным международно-правовым статусом Латвии тесно связан и вопрос «латвийского золота». Дальновидные и умные политики для достижения своих целей действуют гибко, но основываясь на праве, а не игнорируя его. Поэтому наиболее выгодный для стремлений к самоопределению латышского народа правовой статус надо всеми силами укреплять, а не легкомысленно дробить. Только тогда, когда будет завершен этот процесс восстановления независимости и будет восстановлена суверенная и эффективная государственная власть Латвийской Республики, она сможет и распоряжаться принадлежащим ей золотом, и выдвигать требование о возмещении убытков со стороны Великобритании. А требование о передаче золота в распоряжение Латвийской ССР, пока она входит в состав СССР, не обосновано. Передача золота Латвии не может быть началом процесса восстановления независимости — это будет его завершением. Нельзя ставить точку, пока предложение не написано.

³¹ Здесь следует подчеркнуть, что в последние годы правительство СССР изменило свое прежнее отрицательное отношение к «буржуазному» международному праву и теперь, по крайней мере официально, признает приоритет международного права над политикой, см. меморандум о развитии международного права, переданный правительством СССР Объединенным Нациям, см. «Советское государство и право», № 4, 1987 В. С. Верещетин, Р. А. Мюллерсон: Новое мышление и международное право, «Советское государство и право» № 3, 1988, 3 и сл. стр.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК

РУССКАЯ СЛУЖБА

На следующее утро поднялась температура: вряд ли от распухшего, с царапиной пальца, а скорее от плодового и бычков; во всяком случае, расстройство желудка в сочетании с распухшим пальцем было достаточным поводом для захода в поликлинику, где районный врач выдал ему бюллетень на трое суток. Повалявшись недолго в кровати с утешающей мыслью, что по крайней мере на трое суток он избавлен от лицезрения проектировщицы Зины и сослуживцев, а тем временем заодно замнется в памяти конфуз в саду им. Баумана, Наратор прикинул в уме свои финансы и к концу дня отправился в сберкассу. Снял со сберегательной книжки премиальные и, добравшись до центра, купил в радиомагазине транзистор под названием «Спидола». Всю жизнь он слушал радиоточку в виде черной тарелки: в звуках из черной тарелки было постоянство, как в свете электрической лампочки; сейчас он крутил ручку «Спидолы», впервые познавая неуловимость волн, и привыкал преодолевать помехи. Вечер за вечером глядел он в зеленый глазок, мерцающий то драконьей угрозой, то светом маяка, к которому он продвигался через шипение, свист, писк и хрип волн, уа-уи, пши-вши, и вот наконец на этих волнах заплясали голоса. Передразнивая человека с эстрады, эти голоса предупреждали о своем приближении разными позыв-

ными мелодиями и, пробившись через шумелки и глушилки, объявляли о себе, как на праздничном концерте: «Говорит Голос Такой-то», и говорили, говорили, говорили. Когда было плохо слышно, Наратор прижимался к ним ухом и ушам своим не верил. «Вот те на!» — говорил сам себе Наратор, вытирая пот со лба, и выпивал рюмку водки, чтобы поддержать разум, сидя жарким воскресным днем у себя в Бескудниково. Поначалу Наратор думал, что все эти сногшибательные факты о советской стране — шутки радиостанции «Маяк», такая сатирическая программа по самокритике для юмора в шутку, которую он упускал всю жизнь в результате усердного просиживания в министерстве над заклеиванием и подчисткой орфографических ошибок начальства. Иногда, слушая «голоса», его разбирал смех, потому что в «Правде» на стенде у булочной было написано одно, а «Спидола» говорила совсем обратное. Но чем больше он слушал, тем меньше смеялся, потому что даже если все это неправда, все равно волосы дыбом вставали при одной мысли, что хоть доля правды в этом есть. Если раньше Наратор, придя со службы домой, съедал пачку пельменей, ложился на кровать с орфографическим словарем полистать или точил карандаши и засыпал под передачу «Для тех, кто не спит» из черной тарелки, то теперь он с воспаленными глазами крутил ручку «Спидолы» и впивался взглядом в стрелочку, ползущую по названиям городов: Лондон, Нью-Йорк, Мюнхен. И если раньше

(Продолжение. Нач. в № 5, 1990)

Рисунок ИНГРИДЫ ЗАБЕРЕ



эти названия были не более чем кружочки с буквами со школьного урока географии, то теперь они обрели голос, заговорили, и одного этого было достаточно, чтобы смутить недалекий ум, привыкший к тому, что все эти города — лишь наименования могил мирового капитализма, где вурдалаки с мощной копошатся в золоте, обогранным кровью пролетариата, и ребенок тянет хилую ручку: «Папа, не пей!», а молочка-то нет, а где коровка наша, а увели, мой свет; в то время как мы, здесь, уже давно исправили орфографические ошибки прошлого. Короче, раньше была одна на свете «Правда», а теперь она раздвоилась. И голоса из «Спидолы» были непохожи на те, к которым он привык за свои сорок лет: они были другими голосами, с ненашим выговором, вежливые и неназойливые и, что совсем невероятно, ошибались, в то время как голосу из репродуктора ошибаться не полагалось; эти же ошибались и, ничуть не смутившись, говорили «извините», как будто это не радио, вещающее правду и только «Правду» на весь мир, а ресторан с вымпелом «за отличное обслуживание». И уже развращенный этой неназойливой любезностью, Наратор морщился при звуках деревянных, нутряных, как у чревоушателя, голосов сослуживцев, которые, выдав очередной ляп, не только не говорили извините, но еще и толкались, например, в столовке или в очереди за зарплатой, не говоря уже о профсоюзных собраниях. И особенно трудно было Наратору общаться с товарищами по службе после голоса Наума Герундия, который все обозревал и с одной стороны, и с другой стороны, но в конечном счете все оказывалось с мрачной стороны у нас, а у них там, в транзисторе с кружочком Лондона, была веселая такая и большая компания светлых умов, гениев красноречия, и они сидят себе, нога на ногу, с рюмкой шерри-бренди и обсуждают, как плохо жить там, где их нет, то есть тут, где был Наратор. «Правда» двоилась у Наратора в глазах, когда он, просидев круглую ночь над этой, как он стал называть «голоса», самокритикой, появившаяся на службе с опухшим от недосыпа лицом и с синяками под глазами. При появлении Наратора в министерских коридорах сослуживцы стали подмигивать друг другу и шушукаться, распуская слух, что у Наратора завелась интрижка с бессонными ночами; проектировщица Зина при таких разговорах потупляла взгляд и краснела, но при встречах с Наратором в коридоре толкала его плечом и шипела в ухо: «Член нетрудовой!» Раньше подобное шушуканье сделало бы Наратора вдвойне подозрительным, заставило бы еще плотнее обложиться своими бритвочками и клеями у окна в опасном положении; но теперь он как будто не замечал этих насмешек, а ждал только конца рабочего дня, чтобы снова вернуться к шкале транзистора, как меломан в ложу консерватории. В смысл того, о чем журчали эти голоса, он не вдумывался, как и не вдумывался в мелькание страны под барабанный грохот с энтузиазмом реюющих знамен. Она, страна, ходила, как на демонстрации, по кругу мимо его жизни, состоявшей из пропахшей потом школьной раздвоалки, резинового киселя и холодных вафельных полотенец суворовского училища, запаха казеинового клея и казенных биточков в столовке учреждения. О топоте страны за окном он знал прежде лишь из черной тарелки радиоточки: по голосам передовиков, по призывам партии и радионяни правительства каждое воскресенье с добрым утром для тех, кто не спит в море. Если не считать годов Суворовского училища, откуда его изыали по состоянию здоровья, он давно перестал шагать в ногу со страной и лишь глядел пристально на орфографическую ошибку с бритвочкой и промокашкой в руках; к грохоту социалистической стройки за окном собственной жизни он относился, как к реву машин человек, живущий на шумной улице: если бы шум за окном прекратился, он почувствовал бы себя не в своей тарелке.

Нечто подобное и произошло с голосами из «Спидолы». Однажды, когда очередной инновационный голос стал рассказывать о том, что русский царь Иван Грозный решил заручиться правом политического убежища у английской

королевы на всякий случай в России, откуда-то сбоку, от кружка со словом Лондон, вдруг поползли шипение и гул. Наратор попробовал подкрутить ручку в сторону, но тогда исчез инновационный баритон. Подкрутил ручку обратно к Лондону, но голос исчез окончательно: вместо него из кружочка лез глушащий сознание вой — то ли толпы, марширующей по булыжникам Красной площади, то ли скрежет электропилы, сквозь который пробивались слова советской песни «если бы парни всей земли вместе бы песню одну завели». В ту ночь Наратор долго шарил по шкале, но вместо старых знакомых герундиев бил по ушам все тот же грохот намеренной глушилки. Голоса бесследно исчезли. Однажды он решился впрямую спросить у бухгалтера отдела, знаком ли он с юмористической передачей «Маяка» под названием «Бибиси», но тот предупредил его, что не терпит матерных выражений в присутствии женского пола и ни про какое «бибиски» слышать не желает, а кадровик на вопрос о «голосах» заявил ему, что у него в семье психов не водится и голосов он в голове не слышит. Обрезавшись так несколько раз, Наратор стал подозревать, что голоса его исходят вовсе не от «Маяка», а совсем из другого конца и источника света, и что на том конце света он, может, никогда в жизни не побывает и не сможет проверить, скрываются ли за этими голосами живые лица. Желание познаться с этими голосами лицом к лицу под рюмку шерри-бренди стало таким навязчивым, что однажды вечером он не выдержал рева глушилки и, вооружившись отверткой и преодолев страх перед электричеством, стал винтик за винтиком разбирать транзистор; но ничего, кроме цветных кубиков с проволочками вроде детской игры, внутри не обнаружил. Он глядел на валяющиеся части потустороннего мира на столе с протертой клеенкой, и до него доходило, что глушилка, которая лишила его задушевных голосов навсегда, находится не внутри говорилки, а где-то снаружи, может быть, у соседей, а может быть, даже на Спасской башне. Раньше он мысленно ограничивал свою жизнь министерским учреждением, от которого тянулся мысленный проход в его комнатушку в Бескудниково; теперь он впервые увидел себя одного в большом желтом городе, где ему не к кому пойти и не у кого спросить, есть ли эти голоса, звучат ли они еще за глушилкой, не погибли ли под развалинами его транзистора. И не у кого спросить не только в этом большом городе, не у кого спросить ни в одном населенном пункте этой трудовой страны, где от края и до края, от моря и до моря марширует вперед рабочий народ, глуша топотом примерещившихся Наратору «голоса». Но глядя на другие новые «Спидолы» в витринах радиомагазинов и вспоминая, как священный сон, раковину эстрады со звукоподражателем и понимающей публикой, Наратор приходил к выводу, что не одному ему слышались эти голоса, что, может быть, их слышала вся страна, только делала вид, что их, «голосов», не существует, что не существует того, другого света, а есть только парни всей земли, которые песню одну завели. И Наратор затосковал: лицо его осунулось, фигура спорбилась, он стал невнимателен и, самое странное, вспыльчив. Однажды, к примеру, во время аврала с подготовкой доклада министру Наратор обнаружил исчезновение любимой резинки-стиралки, привезенной ему в подарок завотделом из заграничной командировки; Наратор возмнил, что ластик этот тиснули его враги из сослуживцев, чтобы ему подгадить; впал в бешенство и надсадным голосом кричал, что подает заявление об уходе, стучал кулаком по столу и предъявлял ультиматум, так что у сослуживцев глаза на лоб полезли от удивления; завотделом собрал даже срочную летучку и говорил о моральном облике советского служащего и позорном поведении некоторых, крадущих орудия производства срочного и ответственного доклада; пока он все это говорил, Наратор обнаружил резинку в щели между столом и подоконником: так и осталось невыясненным, совершен ли был вредительский акт или резинка сама запала в щель в ходе запарки? Но главное, Наратору стала изменять

его корректорская хватка: в одной из деловых бумаг он пропустил грубейшую опечатку: вместо слова «партком» было написано «партков», а когда доклад был с презрением отвергнут и заведомо был выброшен за дверь, Наратор медленно поднял заспанные глаза и сказал на это: «Что же, человеку и ошибиться раз в жизни нельзя?» Все сослуживцы были шокированы подобным безразличием к делам коллектива; это было так непохоже на Наратора, что все решили: Наратору нужно немедленно предоставить внеочередной отпуск. Стали обсуждать, где лучше всего поправить расшатавшуюся напряженным трудом нервную систему: в министерском санатории в Алушке или в ведомственном доме отдыха в Старой Русе; кое-кто пропагандировал рюкзак с палаткой в Подмоскovie как лучшее средство встряхнуться, но, поглядев на апоплексическую физиономию Наратора, решили больше про турпоход не упоминать; говорили, что пора профсоюзу выдать Наратору бесплатную путевку в Кисловодск, где кислые воды лечат нервы лучше, чем всякий там валидол; увлекшись обсуждением так, что все переругались, пока бухгалтер не рассказал анекдот про Рабиновича, который никак не может решить в связи с отъездом за границу, брать ему зонтик или не брать. Пока все смеялись, Наратор набирал в легкие воздух смелости, и когда смех утих, выпалил: «Желаю в кругосветное путешествие!» Кто-то поперхнулся, кто-то истерично хихикнул, кто-то покрутил пальцем у виска, потом заговорили все хором одновременно, потом одновременно притихли. В наступившей тишине заведомо заявил, что в желании собственными глазами убедиться в круглости нашей планеты нет ничего притивоестественного и вполне возможно похлопотать о курсовке на пароходе «Витязь» с заходом в главные порты Европы. «И зонтик пригодится», — остроумно припомнил бухгалтер юбилейный подарок и сказал, что в Англии дожди идут круглые сутки.

Краснокожую паспортину, при учете хвалебных характеристик и заверенных печатей треугольника, выдали настолько быстро, что Наратор не успел как следует ознакомиться с предстоящим ему иностранным языком; успел вызубрить только алфавит и поудивляться, как много в иностранных словах букв, которых все равно никто не читает, и он, Наратор, давно бы вычистил их бритвой из языка, как пугающие корректора излишества. Вечерами перед отъездом он часто вынимал, сам не зная зачем, из ящика буфета отцовские ордена, медали с бантиками и нашивки, которыми развлекался голопузым малышом. Потом был инструктаж, как не отрываться от своей группы на враждебной территории, и из этого инструктажа Наратор пытался понять, как же от своей группы можно будет оторваться. И, наконец, долгожданный борт трехпалубного парохода «Витязь», где, на протяжении всего плавания, его регулярно рвало от малейшей качки; посреди ночи он просыпался в поту и страхе, что пропустил английский порт, выходил на палубу и глядел на покачивающийся горизонт, пытаясь различить огни желанной пристани, тот самый маяк, с которого шли голоса в «Спидолу». По прибытии в Плимут (который запомнился ему рифмой «примут?») Наратор очутился и на берег вышел вместе с экскурсией побритый. Но приступы морской болезни во время плавания сыграли свою положительную роль: когда на первом же углу он попросился в сортир, никому не пришло в голову прикрепить к нему сопровождающего — все привыкли, что он блюет не переставая. Из сортира он выбрался через окошко и пешком, чудом следуя указателям, добрался до железнодорожной станции. Ему все казалось, что вот вырастет за спиной и схватит его за шкуру начальник группы, и не видать ему Наума Герундия с одной стороны и с другой стороны, надо было спешить, а он никак не мог разобраться в переворачивающихся на глазах табличках расписания, тем более что в конце концов ему указали на поезд, не соответствующий доске отбытий и прибытий — так что никакой гарантии, что едет этот поезд в Лондон, у Наратора не было. Да и забраться в поезд тоже было непросто: у них ведь вагоны устроены, как улицы — дом по сути один, только разделен дверьми

на отдельные купе; в каждом купе по своей двери, открываешь дверь и видишь, что купе занято, надо бежать вдоль вагона и открывать другую дверь, а она не всегда открывается, потому что вагоны, как и дома здесь, столетней давности, не отличающейся от самой британской демократии и приватности. Он же не знал, что у купе этих общих коридор, и это не купе, а сплошная фальшивка: хоть двери и разные, но отделены они друг от друга лишь спинками сидений. За этими сиденьями и не видно, может, все пассажиры давно поезд этот покинули, потому что он идет не в Лондон, а в депо. Оказавшись одиночкой в этих перегородах, Наратор пристально вглядывался в заплеванные табаком окна, чтобы не пропустить название станций, которые легко было в этом мире спутать с очередной рекламой между горшками труб, лужаек и коров.

Прибытие Наратора в Лондон было озвучено хлопаньем несчетных вагонных дверей, которые грохотали, как победный артиллерийский салют. Вокзал Ватерклозет встретил его гулом толпы под гигантскими арками, как будто на Казанском вокзале, но с одним отличием: у выхода с платформы его поджидал контролер, которому все несли билетки наготове. Билетика, розовой картонной бумажки, у Наратора не было: он его выбросил по московской привычке, сойдя с поезда, не зная парадокса английской железной дороги: билеты проверяются не на входе, а на выходе. У Наратора не было не только билетика на предъявление, не было и языка, чтобы объяснить, почему он свой билет выбросил. Долго он тыкал себя в грудь, говоря «Россия, Россия», демонстрировал свой отрыв от экскурсии в виде бега на месте, жужжал и пищал, изображая помехи в «Спидоле», и даже подражал голосу Наума Герундия. Но негр-контролер с раздутыми губами внимательно шевелил ушами при изображении Наратором помех и крепко держал его за руки, принимая за панка или адикта, сбежавшего из психушки. Когда Наратор попытался вырваться, негр достал свисток, и под сводами раздалась милицейская трель, что убедило Наратора еще раз, что зря мы помогаем освободительным движениям стран Африки. На трель явился английский бобби в черной каске горшком с ремешком под подбородком, и у Наратора отлегло от сердца, потому что из «голосов» он уже знал: в отличие от милиции полицейскому можно и надо доверять, поскольку он твой покой бережет; и Наратор, снова тыкая себя в грудь, прикладывая ухо к ладошке, как бы слушая «Спидолу», попытался выяснить у него дорогу к Русской службе Иновещания, и даже по-суворовски семафором изобразил слова «Говорит Москва» и так размахался руками, что первый бобби повел его в привокзальное отделение, где у него спросили единственно понятную ему на этом языке вещь: паспорт. Когда Наратор достал свою краснокожую советскую паспортину, глаза у присутствующих округлились. Тогда он и услышал впервые слово «дефектор», не зная еще, что означает оно «перебежчик». Он решил, что его принимают за дефективного, возьмут и вызовут психовозку, а то еще и советского посла, и не видать ему Герундия. Но на телефонные звонки полицейского чина явился переводчик, и как только этот самый переводчик раскрыл рот, восторгу Наратора нельзя было найти адекватного перевода по-английски. Потому что голос этот звучал «Спидолой» и хотя ограничивался лишь последними новостями о том, что все не так, как по «правде» выходит, услышав его, Наратор знал, что этот голос выведет его на верную дорогу к лицам с шерри-бренди и с одной и с другой стороны. «Он! он!», возбужденно тыкал Наратор пальцем в переводчика, а хомосапиенс из Хом-офиса, британского МВД, выпытывал через переводчика, кто такая Спидола и на какую разведку она работает. «Мне бы на лица ваши взглянуть», говорил Наратор, расспрашивая переводчика, в какую же дыру голоса влетают, чтобы вылететь из «Спидолы» на другом конце света. Переводчик распространялся про эфир: «Бибиси — это писк издыхающего трупа бывшей британской империи в самоубийственной петле доморощенного гуманизма, в то время как голос Иновещания

высится в эфире как статуя Свободы с филиалами во всех столицах мира. И ваш голос может стать еще одним кирпичиком в фундаменте этой самой эфирной статуи», разглагольствовал переводчик. Наратор слушал его заворуженно, раскрыв рот, а хомосапиенс все время допытывался у переводчика, пытается проникнуть в их беседу: «Он просит политического убежища?» И переводчик спросил у Наратора, почему бы тому действительно не попросить политического убежища. Тем более голос у Наратора неплохой и он в один прекрасный день тоже сможет присоединиться к сонму вечных, говорящих в эфир; ведь если волне голоса удастся пробиться через земную атмосферу, она выходит в космос, где нет ни глушилок, ни торможения, и она, волна, то есть голос Наратора, будет вечно странствовать по Вселенной до скончания веков, а может и дольше. И Наратор согласился, тем более вокруг продуктовые магазины были забиты колбасой не только вареной, но и сырокопченой и разными шерри-бренди, которые он будет распивать в окружении тех самых лиц, голоса которых звали его в Москве прочь от проектировщицы Зины; к ней обратно всегда успеется, пусть сначала избавится диетой от двойного подбородка и тройного бюста, а если уж сослуживцы без него так скушают, пускай слушают «Спидолу», где он будет читать лекции по орфографии, аналогично юмористической передаче «Радионяня» по первой советской программе. Так он и сказал человеку из «голоса», и хомосапиенс стал заполнять полицейскую анкету. Первую ночь в целях безопасности он провел в полицейском участке, где поразился комфорту камер предварительного заключения, хотя, впрочем, сравнить было не с чем, потому что в Союзе его на пятнадцать суток никогда не арестовывали. Когда же наутро ему дали яичницу-глазунью с беконом и в придачу две сосиски, вся его тамошняя жизнь стала вдруг уменьшаться в памяти, уходить в туман с пароходным гудком «Витязя», махая ему с борта на прощанье рукой. Наутро дверь камеры открыли и сказали, что он свободный человек и может идти на все четыре стороны Лондона и любого другого населенного пункта Британской империи.

В свой первый день на Иновещании он долго бродил по петляющим коридорам в надежде встретить Наума Герундия, пока ему наконец не разъяснили, что этого заслуженного работника уже год как нет в живых: он скончался от необъяснимого недуга, в рассказе мелькала история о каком-то зонтике; так или иначе его голос давно звучит с пленки, поскольку он успел наговорить актуальных комментариев на четыре поколения вперед. И Наратора осенило, что не за всяким голосом скрывается человек, а если и скрывается, то не всякое лицо похоже на слышимый в эфире голос. Один голос, бархатный и звучный, оказался тщедушным пронырой с красным носиком, который при каждом удобном случае приговаривал «о-кей, братцы-кролики». А дамский хрупкий, как печенье курабье, голосок с английским акцентом оказался теткой с обветренным, шелушащимся круглым лицом-репой, которая, познакомившись с Наратором, ходила по коридору и говорила: «здрасьте-пожалуйста, говна-пирог!» Несходство это настолько ошеломило Наратора, что поначалу он подумывал, не возвратиться ли ему обратно тем же путем, отправившись в кругосветное путешествие с заходом во все советские порты от Нальчика до Находки. С этими мыслями он брал в руки зонт с эпिताмой «от товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни», нажимал на кнопочку: зонт раскрывался, и, постояв так с черным куполом над головой, снова как наяву припомнив запах бычков в томате из чужого ползущего рта и злой хохот сослуживцев в саду им. Баумана, Наратор осторожно складывал зонт и, успокоившись, ложился спать. Но постепенно и сами мысли о возвращении перестали приходить в голову, и он забыл, куда, собственно, собирался возвращаться: и сам он и другие забыли историю его дефекторства, откуда он и что и на каком свете; Лондона он не знал, кроме своей за копейку собесовской комнатухи с общей ванной,

да еще службы и возвращался вечером, разъезжая всегда на втором этаже для обзора, где курили, казалось, все — курили собаки, женщины и дети, окурки кидались на пол, а кондуктор стучал монеткой на каждой остановке, давая знак водителю, и, отрывая билетки, говорил вместо «спасибо» загадочное междометие «та». Сначала ему казалось, что если сейчас ничего у него за душой не осталось, то было, по крайней мере, что-то прежде; но потом он понял, что и прежде ничего не было, и в будущем ничего не будет. Одни голоса, не соответствующие лицам. Лица же с Русской службы, не соответствующие собственным голосам, становились, завидев Наратора, все менее и менее соответствующими собственным голосам. Более того, эти лица стали повышать на него голос, когда Наратор лез в каждый перевод с орфографическими замечаниями и пытался бритвочкой с ластиком заглаживать описки в депешах для эфира, которые через мгновение годны были только для мусорной корзины. Недаром эти депеши — сообщения, они же «диспатчи», презрительно назывались среди сотрудников Русской службы «дисрачами», поскольку шли потоком чуть ли не симулятивно с английского прямо в эфир, меняясь от «пиздерачи к пиздераче», как называли здесь передачи. И знатоку в исправлении орфографических ошибок Наратору трудно было понять, что тут слово не доклад министру, а воробей — вылетит, не поймешь, и что эфир орфографии не улавливает. И Наратор растерялся и не находил себе места, не говоря уже о сложностях со временем, которое у англичан есть прошедшее в будущем и будущее в прошедшем. Всегда скрупулезный в отношении трудового расписания, Наратор являлся на службу вовремя — только время это не всегда совпадало с принятым на Иновещании. Чтобы не нарушить трудовой в себе дисциплины, Наратор заводил будильник по многолетней привычке согласно московскому времени, которое он два часа опережало английское, если только эти островитяне не переходили иногда на «летнее время», что было на час позже, а может и раньше, короче — три этих времени — московское, по Гринвичу и летнее — путались в его голове безнадежно, и он опаздывал, каждое утро совершая сложные арифметические подсчеты; в конце концов он завел три будильника для каждого особого времени, но забывал, в свою очередь, какой будильник что показывает. Путаница в том же духе шла в голове и с английским: до поздней ночи сидел он с оксфордским словарем, заучивая самые невероятные и экзотические словосочетания, а особенно напирал на пословицы и поговорки, забывая их русский оригинал, в результате, отставая свою констку среди русских сослуживцев, из него вылетали конструкции вроде: «бьюсь как дерьмо об лед», или же «я у вас как бревно на глазу», и с таким ералашем в голове, выходя в эфир с дисрачем во время пиздерачи, вместо «руководство» произносил «урководство», а «миссию Киссинджера» упорно называл «киссия Миссинджера». Наконец его осенило, что, имея дело с эфиром, суть совершенства заключена не в орфографии, а в правильных ударениях, и он стал расхаживать от диктора к диктору с советским словарем диктора, не понимая, что каждый дикто-эмигрант считает, что он и есть русский язык, и не любит, чтобы ему диктовали, где и по кому делать ударения. Не говоря уже о том, что Наратор своими наставлениями прерывал сообщения, идущие прямо в эфир, в результате чего его отстранили от микрофона. Не говоря уже о том, что у него вообще были трудности с речью, и ему легче было жить, вообще не говоря. В качестве переводчика он тоже был не мастак: хоть и понимал, что ему говорили по-английски, — у каждого слова было слишком много значений на великом и могучем, а выбирать он не привык и не умел. В конце концов его перевели в отдел некрологов на каждого здравствующего знаменитого человека в случае его смерти, где Наратор с утра до вечера расставлял косые черточки ударений. Но терпение администрации истощалось, и когда девятым валом поперла третья волна эмиграции, все чаще Наратору

стали намекать, что в эфире незаменимых нет. И все чаще Наратор, вернувшись с работы, запалал старую свою «Спидолу», которую благополучно провез через все кругосветное путешествие к политическому убежищу, находил диапазон волн и мегагерцы и слушал «голоса», забывая об увиденных лицах, которые этим голосам не соответствовали. Голоса прорывались и хрипели, уже не перекрикивая московские глушилки, а просто улета в противоположном Наратору направлении в сторону железного занавеса, доходя потому с таким же трудом, как и в Москве. И Наратор раскрывал снова зонтик с мемориальной надписью и снова представлял себя на лавочке в саду им. Баумана; но слышал теперь не отгремевший хохот сослуживцев, а звукоподражателя Копелевича в раковине эстрады; грехи отцов забывались, и все явственнее проступало понимание собственного ничтожества. Вместе с потерянной надеждой на возвращение юбилейного зонтика и этот диапазон взаимопонимания с самим собой сузился до точки такого глушения, за которым не слышно было даже плача.

* * *

Наратор поднял голову с колен, поправил на голове бескозырку и тут, сквозь стеклянную дверь парадной, заметил движущееся в его направлении странное существо. Это была согнувшаяся в три погибели, то ли от холода, а может быть, от обвешанных авосек и продуктовых пакетов, крошечная женская фигурка. Старушка семенила по улице поставленных на попа глазурных гробов, и ветер трепал куцую, выеденную молью лису ее воротника. Она возвращалась с «жопинга», то есть с закупок на неделю, потому что сумки свисали, казалось бы, даже с ее согнутой шеи, увенчанной фетровой шляпкой, но она умудрялась еще удерживать в руках старую муфту, назначение которой всегда было тайной для тех, кто не жил лет пятьдесят назад. Перед воротами студии на углу она стала замедлять свою старушечью трусцу: из ворот выехал революционный броневик и перегородил ей дорогу. За ним, нестройной и шумной толпой, стали выходить солдатские и рабочие депутаты с примкнутыми штыками и развернутыми английскими газетами. Старушка покачалась, как будто пытаясь уравновесить свисающие со всех сторон продуктовые баулы, а потом боком, боком, как несет порывом ветра перышко по кромке тротуара, она припустилась, прижимаясь к палисадникам домов, трусцой прямо в направлении парадной, где дожидался прибытия поезда Наратор. Но когда старушка прорвалась со своими авоськами в парадную, Наратор опешил, как будто его застукали за публично осуждаемым занятием, и хотя он никакой нужды на лестнице не справлял, смутился страшно, потому что это ведь не московская парадная, где не только нужду справляют, но даже целуются и ведут антисоветские разговоры, а подъезд английского помещения, которое для англичанина — его крепость, даже если и собесовская. Чтобы как-то выйти из положения, Наратор, поправив бескозырку, спадавшую с макушки, поспешил навстречу старушке, путавшейся в своих пакетах и шали, которая закрутилась вокруг головы от ветра и трусцы, и, подскосив к ней сбоку, издал старательно все полагающиеся английские звуки «май» и «ай» и «элп», сводящиеся к тому, что, мол, не надо ли вам помочь? Старушка выглянула из-под шали, шляпки и муфты, пробежала глазами по бескозырке Наратора, с которой фарцово свисала надпись «Броненосец Потемкин»: «ой-ва-вой!» взвизгнула она и стала уменьшаться в росте, ноги ее стали подкашиваться и, не проронив больше ни звука, она растянулась на полу. С глухим стуком посыпались из пакетов булки, и треснули пакеты молока, напоминая о симпатических ленинских чернилах с хлебным мякишем. «Неужели копыта отбросила?» проговорил вслух Наратор и, присев на корточки, стал разбирать грудку пакетов и баулов, из-под которых торчали фильдеперсовые чулки и боты с пуговками на боку. Развернув шаль, обмотавшуюся вокруг лица старушки, Наратор охнул, как египетский археолог, раскопавший му-

мию: на него глядело лицо заслуженной машинистки Русской службы. Среди машинисток Иновещания она была известна как пионерка слепой системы, так называемая десятипальцевой. Хотя она и отличалась убийственной дальноркостью и не видела ничего, что творилось у нее под носом, у нее была репутация скоростной машинистки, и к ней всегда выстраивалась очередь из переводчиков: поговаривали, что за долгие годы она усовершенствовала десятипальцевую систему до двух пальцев — по одному для каждой руки. «В десятипальцевой системе каждый палец знает свое место, ошибки быть не в состоянии, и все равно нам в этом аспекте не угнаться за советской социалистической системой», и она заливалась журчащим смешком, повторяя свою остроту каждому поколению сотрудников Русской службы. Может быть, оттого, что Наратор от переводов был отстранен и поэтому не диктовал никогда ничего машинисткам, она воспринимала его как существо особое, всегда справлялась о его пищеварении, советовала есть чеснок от простуды и стоять на голове для прилива крови к умственной деятельности. «Нам многому следует поучиться у индийских йогов. Бедные, они такие голодные!» Впрочем, у нее все было на свете бедные, вне зависимости от того, про кого шла речь в очередном диктуемом ей «дисраче» — про голодающего йога или же очередного канибала, у которого его подданные взяли глаз на анализ. «Бедный он, бедный!» приговаривала она и, нацелившись двумя пальцами, с хищным наклоном над пишущей машинкой, начинала летать от буквы к букве, как стриж перед грозой.

Единственное исключение составляли имена советских руководителей, и стоило ей услышать титул члена Политбюро, она вдруг выпрямлялась, останавливая стрекот машинописи, и, глядя прямо перед собой, говорила четко и раздельно: «Когда этих наглецов дезавуируют, в конце концов?!» И приходилось выжидать, пока к ней не вернется миролюбивое расположение духа и два пальца снова нацеляются в готовности строчить о «бедных, бедных!». Наратор, глядя сейчас на ее заострившийся носик и осунувшееся лицо, недоумевал, неужели ему случилось угробить единственного человека Русской службы, третировавшего его с уважением и даже заботой. Он не удивился, что старушке случилось прожить в этой самой парадной, где он отсиживался: ведь всех работников Иновещания он встречал исключительно в служебном коридоре. Может быть, сердце ее не выдержало встречи с симпатичным ей человеком со службы в непредвиденном месте и обстоятельствах? В неловкой позе Наратор склонился над ней, обмахивая ее лицо бескозыркой с ленточками. Машинистка Русской службы Циля Хароновна Бляфер открыла глаза и, хорошенько убедившись, что написано на застывшей в воздухе бескозырке Наратора, снова забылась в обмороке.

II

«Сердце у тебя, Циля, бьется, как у курсистки», — говорил домашний доктор с черными шнурами стетоскопа, растущими из ушей, усаживая старушку в кресло. Циля Хароновна Бляфер, придя в себя и выпив для самочувствия наперсток шерри-бренди, была настроена воинственно. Она попала в Англию, сбжав в чем мать родила из колыбели революции Петрограда, спасаясь от революционных матросов и солдатских депутатов, которые конфисковали ее фальшивые бриллианты и расстреляли у нее на глазах верного мужа как контрреволюционный элемент, защищавший свою буржуазную супругу от слияния с революционными массами, то есть от изнасилования. Броневик, который повстречался ей на углу, пробудил в ней первобытные мемуары о революционном энтузиазме петроградских матросов, мирно дремавшие до этого в демократии лондонского пригорода. По дальноркости она приняла было броневик за британские военные маневры, но матрос с броненосца «Потемкин», откинувший фарцово ленточки и предложивший в парадной свои ус-

луги, рассеял последние сомнения насчет неизбежности нового слияния с революционными массами. Виновник происшествия, дефектор Наратор, сидел, примостившись на стуле, в уголке, и мял свою бескозырку: повесить ее на вешалку он отказался, поскольку эта бескозырка не его собственность, а инвентарь и полицейская улика на тот случай, когда отыщутся украденные на съемках личные принадлежности, включая подменный зонтик. Обзвонив все двери в подъезде и отыскав домашнего доктора, Наратор, казалось бы, свой долг выполнил и пора бы ему отвалить в направлении своих «голосов», но он все сидел и сидел, обомлев и разомлев от центрального отопления в квартирке Цилия Хароновны, от забытого вкуса селедки домашнего засола под наперсток лимонной водки, от старинных российских часов с кукушкой и от самого вида комнаты, в которой они сидели. Комната была как будто приснившаяся после чтения дореволюционной литературы, перенесенная в неудобный, со сквозняками, колкий лондонский пригород из российской глубинки, с кружевами на комодике и вереницей слоников, с персидским ковром и с пейзажиками на стенах, изображавшими утро в сосновом бору и девушек с персиками. Наратор млеял от этой обстановки, как оттаивает в зале ожидания на вокзале заколеченный от жизни и непогоды командировочный; Наратор жмурился от тепла, от самой невероятности того, что не надо было, сидя в комнате, напяливать на себя четыре одежды, а сверху еще закутываться одеялом, что можно было свободно перекидывать ногу на ногу, поразмяться и снова присесть в кресло, не утруждая себя постоянным утеплением от вечного промозглого ноября внутри помещения. Потому что правильно заметил князь Мышкин из отдела текущих событий: на улицах в Англии теплее, чем в России, зато внутри так застужено, что русскому человеку с непривычки смерть. Привыкший к централизации, по крайней мере в смысле отопления, Наратор никак не мог додуматься, что в свободном обществе каждый греет себя сам согласно своим индивидуальным запросам. Когда же ему подсказали в администрации, что для обогрева надо купить электрообогреватель, Наратору пришлось столкнуться уже не с культурой, а с цивилизацией. А у островной цивилизации свои законы. Ведь если для авто здесь левостороннее движение, то и люди, случайно сталкиваясь на улице, огибают друг друга с непривычной стороны. В нормальной цивилизованной стране покупаешь обогреватель, суешь штепсель в розетку и согреваешь заколеченные кости. Но когда Наратор вынул обогреватель из магазинной картонной коробки, выяснилось, что на конце провода нету штепселя. «Надули!» — решил Наратор и, промерзнув еще сутки, направился после восьмичасового рабочего дня обратно в супермаркет. Но продавец отсутствию штепселя ничуть не удивился; сказал, вон они, штепселя, они в этой стране продаются отдельно. Наратор выбрал самый лучший, но, придя домой, обнаружил, что нет у него отвертки привинтить проводки к штепселю. Пришлось мучаться еще ночь. Закупив через сутки отвертку (за каждую отлучку в магазин надо было оправдываться перед начальством), он к полночи привинтил штепсель к проводу, хотел сунуть его в розетку, но — у штепселя-то было, заметьте, три вилки, а у розетки только две дырки. Пришлось на следующий день снова отпрашиваться за штепселем с двумя вилками. Приладив все как надо, Наратор воссоединил дырки с вилками, однако теплоотдачи от этого совокупления не произошло. Леденеющими руками Наратор стал развинчивать штепсель, решив, что там какой проводок оборвался, и закончил ползанием на карачках за всеми винтиками, пружинками, подпорками и креплениями, которые изобретательный англичанин зачертил в штепсель для одного ему понятного смысла, распавшегося на гаечки и раскатившегося по всем пыльным и холодным углам комнатухи. Ветер играл терновником и марлевыми занавесками, сколько он ни заклеивал щели в окнах английскими газетами, — в этой индустриальной державе ветер проникал сквозь стекла, как чернила сквозь промокашку. Сосед-

индус обнаружил Наратора в ту прекрасную ночь заиндевшим на полу среди винтиков, гаек и пружиннок, воющим бессвязным матом на цивилизацию. Откликнувшись на этот вой, индус пояснил с буддологических позиций, что в этой стране система штепселей и розеток не так проста, как кажется Наратору. Кроме вилок и дырок существуют еще амперы, и, покупая штепсель, надо считаться с этим самым ампертажем. И посоветовал открутить штепсель у настольной лампы, которая достаточно амперна для обогревателя, не забывая присоединить коричневый проводок к той клемме, на которой буква «л», а синий соединить с буквой «н». Но на этом богоборчество с загнивающим Западом не кончалось: чтобы запалить обогреватель, надо было непрерывно поддерживать в проводах ток, который запирался счетчиком; чтобы ток потек, как вода из крана, надо было в эту коробку-копилку засовывать гривенники. Страшно неприличной казалась эта процедура, особенно по утрам: спросонья без штанов продвигаться в утренних потемках, искать наощупь щель, засовывать туда гривенник трясущимися руками, а потом поворачивать рычажок-крантик, чтобы монета провалилась со звоном и по проводам зажурчал электроток. Никак он сначала не мог смириться с мыслью, что на улице хоть без перчаток всю зиму ходи, а внутри коченеешь до кости; не хватало ему в этой жизни внутреннего тепла, потому что весь жар души уходил на оборону от неприязненных лиц снаружи. Англичане же упорно делали вид, что никакой зимы на их острове быть не состоянии. Перед сном он ставил обогреватель на табуретку перед кроватью с железным матрасом и шпешечками на спинке и прогревал простыни и одеяло. На все одеяло раскаленной пружинки не хватало, приходилось его вертеть, и пока одна сторона согревалась, другая остывала. Спать он ложился, сняв лишь пиджак и брюки, и закутывался в разные обмотки, не понимая, что одежда отбирает у тела последнее тепло, которое скапливается под одеялом одинокого человека. Пытался подвернуть под ноги одеяло конвертом, по-суворовски, но тонкие, продырявленные молью покрывала выскальзывали, наворачивались, влажнели от холода, и вставал он с горьким привкусом во рту, вылезая из-под слипшихся за ночь одеял, как из-под крышки гроба. В ночь перед участием в десяти днях, которые потрясли мир, он заснул лишь под утро: накануне он подстригся в парикмахерской для пристойности облика на киносъемках, волосики кололи кожу, и ему мерещилось, что он обрывает звериной шкурой. Не понимая и отвергая в непонимании душу прекрасного трюка, через который предметы другой цивилизации слаженно уживаются друг с другом, мы мечтаем погибнуть под залп «Авроры» в великой битве с темными неискоренимыми недугами, что затрудняют победную поступь человечества в светлое будущее, а погибаем, заколечен от холода внутри, потому что не знаем, как подобрать к теплу этого старого осторожного мира подходящий штепсель: нету здесь для каждого предмета магазинной вывески, а разные детали до нас не долетают.

Попав в помещение с кружевными салфеточками и центральным отоплением, Наратор моргал от удивления, как будто соскочил с подножки машины времени: только непонятно было, куда его занесло, в будущее время или в прошедшее. Скорее всего, время было английское: прошедшее в будущем. «Чего же ты напугалась, Циля, он же к тебе по-английски обращался!» — хохотал домашний доктор, огромный человек с шишковатой лысиной, с бабочкой при белой рубашке, но в подтяжках, назвавший себя: Иерарх Лидин. Циля Хароновна раздраженно бурчала: «Значит, за английскую шпионку меня принимали, за агента Антанты!» От многочисленных ли наперстков водки с шерри-бренди, но в Циле Хароновне не осталось и следа от пугливой птичьей суетливости машинистки с Русской службы. Она сидела, закутавшись в шаль, нахохлившись воинственно, как эсерка на скамье подсушимых, и, игнорируя советы доктора, дымила всю табак «вирджиния» без фильтра. «Так ты ведь в Англии,

при чем тут агенты Антанты?» — хохотал доктор. Но Циля, пуляя дымком сигареты «Сеньор Сервис», проворчала, что в таких случаях важно не то, где дело происходит, а какое дело на тебя завели; что же касается нее, то она вообще не соображала, где находится, заведив броневик на углу собственной улицы. И что она знает эти штучки-дрючки: выбрали Джона Рида на главную роль, явно левацкий тип, знает она их как облупленных, а они тут устраивают апогеетику из маньяка первой страны социализма. Немудрено, что в городской совет Лондона эти леваки протащили шизофреника-троцкиста; скоро будут арестовывать тех, кто ходит в галстуках. И не забыл ли Иерарх, что большевики использовали государственную думу как трибуну для своей платформы?

«Тебе, Циля, не удастся своей предвзятостью опровергнуть старика Декарта», балагурил доктор, «ты отказываешься мыслить вне России и существуешь только тем, что помнишь. Что помним, тем и живем? Нет, пора избавляться от этого российского прустиянства!»

«Декарт, а? Пруст, да?» расходилась Циля Хароновна. «А ты, Иерарх, существуешь не потому, что мыслишь, а потому, что все забыл со своей филемудрией!» И предлагала ему вспомнить, что революционные муллы-мудилы вытворяют в Персии и «красные херы» на юго-востоке, пока Европа молчит в тряпочку. Во всем этом, от «Джона Рида до звериных рыл мухиджинов», она видела руку Москвы, сжимающую ее сердце до инфаркта. Но доктор Лидин, вытаскив наконец из ушей черные червяки шнурков стетоскопа, сказал, что нечего путать божий дар с яичницей и что «мухиджины» — это афганские повстанцы, а не персидские мудилы. Что же касается этого самого Хуйменя из иранского города Ком, то он, конечно, у всех комом в горле, и прежде всего у своих же шиитов, которых не надо путать с суннитами; ему не следовало объявлять себя двенадцатым исчезнувшим имамом, потому что это все равно, что объявить священную войну джихад в то время, когда исламу не грозит роковая опасность; и дело не в руках Москвы, а в том, что Запад своими жвачками и джинсами осквернил мусульманских дев Востока, и европейские правительства не суются, потому что знают, что и у них рыльце в пуху и что сунниты и шииты не лыком шиты. «И нечего путать затычки из разного бочек и в каждую бочку затыкать рукой Москвы в виде затычки!» громыхал доктор Лидин, и Циля Хароновна все глубже уходила подбородком в свой оренбургский платок. «Лишь погрязшим в эмигрантских склонах недоумкам», бушевал доктор, «мерещится повсюду Россия, которой им больше не видать, а ни по какой другой руке, кроме руки Москвы, они гадать не в состоянии».

«На кого вы это намекаете, Лидин? Это я, что ли, недоумок, погрязший в эмигрантских склонах?» и Циля Хароновна выпорхнула из оренбургского платка, как перепелка из кустов. «А сами вы откуда? От верблюда? англичанин фифти-фифти? От вас самого, Лидин, англичане шарахаются», констатировала Циля Хароновна. «И нечего в этом обвинять эмигрантское болото, как вы меня изволите называть последнее время у меня за спиной». Он что, не понимает что ли, что при подобном попустительстве Европы никаких эмигрантов скоро вообще не будет, потому что всему человечеству скоро выдадут советские паспорта? «Куда вы тогда, интересно, подадитесь со своей всемирностью и взысхуйством: в мухиджинсы? или прямо к муллам и ослам из политбюро?»

Слово «Россия» засвистело в этой перебранке шрапнелью, но наносило сердцу Наратора лишь легкие царапины: то, что они называли Россией, было известно ему под аббревиатурой «СССР», а то, что они подразумевали, оставалось для него загадкой, поскольку Советский Союз был для него лишь географией и только: «у нас в Союзе, у них на Западе», запад, восток, норд и зюйд-вест. Но они, говоря о России, имели в виду, наверное, что-то другое, потому что ни слова Наратор понять не мог и согласиться с тем, что забыл русский, тоже отказывался. И глядя на багровеющую то ли от

стыда, то ли от возмущения лысину и на мечущийся в кресле оренбургский платок, Наратор недоумевал, чего же из-за этой аббревиатуры из трех «с» и одной «р» разгорелся сыр-бор и почему заклятые враги и делают друг перед другом вид, что один говорит по-турецки, а другой по-китайски. Но именно потому, что логику слов Наратор не улавливал и следил лишь за ударениями и, по старой привычке, за некой орфографией жестов, лучше всякого другого третьего лишнего он мог бы засвидетельствовать, что спорщикам в этой комнате с ходиками в забытом лондонском пригороде не так уж важно, на какую тему придирается к словам друг друга. Каждый за долгие годы уже наизусть знал, что может другой сказать ПРО ЭТО. И что все эти «мухиджины» и кочубеи, как и повторяющийся припев из одного слова «Россия» — еще один орфографический словарь для сведения личных счетов. Только вот каких?

Лишь однажды показалось Наратору, что кроме географии в прошлой жизни было нечто похожее на чувство потери, которое было в глазах Циля Хароновны, когда ее сбивал с толку своими аргументами доктор Лидин. Они бы назвали это своими любимыми словами «тоска» и «родина», соединяя которые, мы тут проводим жизнь в проходах по самим себе, изнуряя себя мыслью о том, какими бы мы могли быть, если бы не думали о самих себе со стороны, что и заставило нас от этих «самих себя со стороны» уехать, как от неприятных соседей, а теперь мучаться и нагонять страху на «самих себя» оставшихся, чтобы убедить их в срочной необходимости отъезда и соединения с «самими собой» в настоящем, дорогом для нас перспективой всем вместе воссоединенным тосковать о том золотом времени, когда мы не глядели на самих себя со стороны и никуда не собирались уехать. Эта тоска по тому, что не осозналось когда-то как будущая потеря, черкнула рикошетом по сердцу Наратора лишь однажды среди шумного бала подземки. Он не мог вспомнить, где это в точности было: может быть, в подземном переходе от станции Ворон Острик до вокзальной Виктории, а может, просто в туннеле под площадью Клейстер Скверна, откуда расходились сразу две линии, и он по ошибке свернул на одну, а потом пришлось запутанными туннелями переходить на правильную, то есть ту, которая вела к ночевке в холодных стенах без центрального отопления неподалеку от кладбища с могилой Маркса. По пути тоже были сквозняки, но они перемежались ласковыми эфирами из решеток с горячим воздухом, и было много света в сияющих кафельных плитках, там, где они еще не отвалились или не были извозюканы заборными надписями, среди которых Наратор разбирал лишь часто встречающееся имя немецкого философа: CUNT, Кант. Он процокал каблуками с подковками мимо реклам сосисок, похожих на женские ноги, и женских ног, похожих на сосиски, вместе с толпой людей, идущих вплотную и при этом умудряющихся не касаться друг друга плечами. С очередной развилки туннеля он вышел, держась левой стороны, как это всегда требуется в этой стране, в неожиданном пустынный переход-переулок; как будто встречая его, девица в мужских штанах на углу дернула струны некой бандуры, которую она держала в руках, как мать-одиночка из погорельцев держит ребенка, и запела с тяжелым акцентом викинга из шляхтичей: «в такую лихую погоду нельзя доверяться волнам», вывела она с гулким эхом в туннеле про место некой дамочки, пригласившей неверного любовника прокатиться на лодочке с тем, чтобы его утопить. «Я правлю в открытое море, где волны бьшуют у скал», летели навстречу Наратору искаженные чудовищным произношением слова, и он сначала не сообразил, что пела она, собственно говоря, по-русски; продвигаясь по направлению к уличной певице, он лишь удивился, что понимает песни, и, поравнявшись, нагнулся и бросил ей под ноги гривенник, единственный на шелковой подбивке открытого футляра у ее ног. Распрямляясь и огибая певунью, он успел взглянуть из-под низу на ее лицо, с косыночкой вокруг, низко

на лоб. Когда через пару шагов Наратор, свернув и сойдя по ступенькам, оказался на платформе, он никак не мог сообразить, на какую ветку этого кустарного (кустикового?) метрополитена он попал, а слова про погоду и лодку и опасные волны снова вернулись отдаленным эхом, и до Наратора окончательно дошло, что пела эта на вид фабричная девчонка по-русски, напоминая этим своим пением о некоем детском бреде с семейным праздником и пьяными взрослыми, вроде седьмого ноября, когда все еще были живы, а ему, семилетнему, хотелось спать, глаза слипаются, а кругом хохот и сверканье рюмок и у взрослых красные лица и горлающие рты; чьи-то огромные руки тащат его на колени, явно не материнские, мать умерла при родах, видно — теткин, тетка с косыночкой низко на лоб, из-под косыночки выбиваются кудряшки на влажный морщинистый лоб, тетка нагибается к нему с улыбкой, подпирая гитарой бюст, и выводит гортанным пьяным голоском «поедем, мой милый, кататься», и от нее пахнет бычками в томате. Наратор стоял на платформе и улавливал в эхе из-за угла странное сходство с тем, чего, может быть, не было, но вспоминалось — как чужой сон, который тебе не раз рассказывали и который стал наконец сниться и тебе, и поэтому вспоминается как твое собственное прошлое. И Наратор забеспокоился, заметался по платформе. Он углядел нечто необычное в том, что бросил монету этой певунье в пустом проулке туннеля. Хотя вообще-то он всегда кидал монетку, когда сталкивался в этом подземном царстве с поющим человеком. И поступал он так не из благодарности за доставленную радость, а прежде всего из удивления: какая тут может быть радость от пения, если для его уха это был невразумительный вой под дикое брэнчание, напоминающий крик пациента на стоматологическом кресле, а сам певец выглядел вроде как выпрыгнувший из окна горящего дома — патлы зеленого цвета, в носу булавка и штаны поменялись местами с кофтой. Но Наратор благоговел перед этими вызывающими воплями, чуть ли не героизмом наплевательства: во-круг цоканье каблучков и тревога мирской суеты, ты стоишь, а они мимо, и только по скошенному на тебя глазу, по движению уха в твою сторону можно угадать, что твое истошное оранье благим матом до них доходит, хотя каждый прохожий делает вид, что тебя нет. Как всякий российский человек, Наратор испытывал не столько уважение, сколько испуг перед всяким, кто с наплевательской готовностью выделялся из толпы, когда основная цель существования — в толпе затеряться. Это испуганное благоговение перед каждым, кто готов орать в пустоту на глазах у толпы, и заставляло Наратора бросать монетку тем, кого он, в сущности, презирал. А может быть, тут была и лживая стеснительность, которая, в сущности, была опять же страхом за собственную репутацию в чужих глазах: как бы тебя не посчитали за бессердечного эгоиста и скрягу, чуждого нечеловеческой музыке и пролетарскому гуманизму. На тебя глядели не только молодцы с инструментами, бряцающими мелочью в шапке по кругу, но еще и толпа, которая шла мимо и делала вид, что ничего не видит, а на самом деле краем глаза проверяла: кто дает, а кто нет, гуманист или нет. И Наратор всегда давал. Но на этот раз, побегав с минуту взад и вперед по платформе, Наратор сообразил, что в том проулке, где он встретил фабричную девчонку, певшую про лихую погоду, не было ни единого человека и стесняться было некого, да и сама певунья ни на кого не глядела, а распевала во всю глотку самой себе, как нельзя доверяться волнам. Были только он и она, и до него докатилось как догадка, что он впервые бросил денежку за песню, потому что понимал, о чем в песне поется. В совсем чужом городе пелась знакомая его памяти песня про приснившееся ему собственное детство. И он бросил денежку, как бросают ее путешественники в фонтан на площади того города, куда хочешь вернуться. Как залог возвращения. Наратор потоптался в нерешительности, а потом бросился обратно в подземный переход. Но туннельчик был пуст! Решив, что он спутал

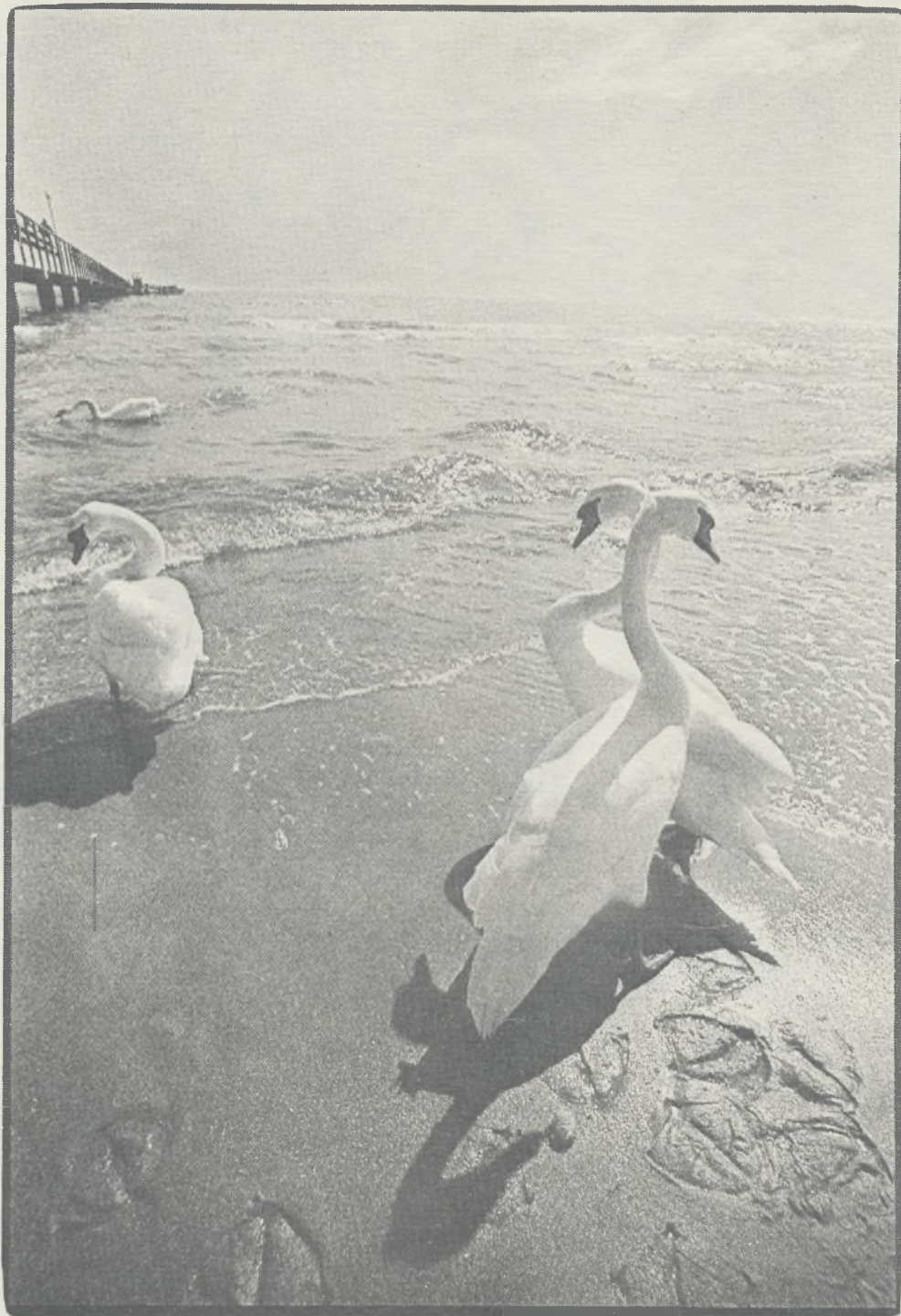
выходы с платформы, забежал с другого конца, но, попав в другой переход, совершенно не узнал в нем подземного проулка, где пелось про лодку, правящую в открытом море. С час он кружил по подземному царству туннелей, лестниц и платформ, где дуют ураганы, свидетельствующие о том, что с какой-то станции, сверху, сбоку или внизу, ушел поезд, высасывая за собой трубу воздуха, спертого дыханием миллионов. Иногда ему казалось, что его поставили вверх ногами, потому что он видел ноги шагающих по переходному мостику над головой, а иногда глядел сам, как будто с небес, на головы шагающих внизу вечных путешественников. И в этом цоканье каблучков и мельканье застывших лиц с реклам постоянно возникало эхо от голоса певуньи, которая правила в открытом море и приглашала милого покататься за соседним поворотом. А может быть, в параллельном туннеле, на другой платформе, куда Наратор спешил, путаясь в эскалаторах, в поисках своей Эвридики, как сказал бы лектор по научному атеизму. И в этой погоне за ускользающим эхом однажды услышанного голоса он не отдавал себе отчета, что ему, собственно, сдалась эта певунья сама по себе; он лишь не мог поверить, что увиденное, услышанное и понятое всего с минуту назад куда-то исчезло и теперь дразнит эхом; ведь он вернулся к тому же месту под теми же сводами, а ее и след простыл; или же в этом лабиринте нельзя вернуться в то же место дважды? куда она могла скрыться с его серебряной монеткой в такую лихую погоду? Или же она просто померещилась в пустом переходе от одной станции к другой, чтобы напомнить ему о том, что он потерял нечто такое, что никогда не считал своей собственностью? что есть в его биографии нечто не проверяемое никаким орфографическим словарем, некая опечатка, опущенная буква, без которой никак не складывается слово и не понимаешь, чего, собственно, не хватает?

«Вам хочется, чтобы Россия была из ряда вон выходящих историческим феноменом; даже в сталинских преступлениях и советской власти вообще вам видится нечто мистическое», наступал на Цилю Хароновну доктор и доказывал, что Европа по части жестокости не менее оригинальна. Как, скажем, голландцы обошлись с реформатором Де Витте? От растерзанного толпой трупа отрезали с костей мясо и продавали по кускам за гульдене и серебреники желающим, чтобы сварить суп в качестве сувенира о ненавистном государственном деятеле. И это происходило в просвещенной стране Рембрандта, и даже философ Спиноза как раз в это время шлифовал свои линзы. А лавки, где продавались изделия из человеческой кожи времен французской революции? А Кромвель, который приказал выбить все стекла и двери, чтобы выморить католиков Оксфорда не оружием, так холодом? Что касается Персии, то именно эти самые англичане и натравили на великого русского поэта именно этих самых мулл, в кровожадности которых Цилю обвиняет руку Москвы.

«Вы всегда, Иерарх, разведете свои филемудрию и мудологию, которая к делу отношения не имеет, и с которой спорить никто не собирался, а потом ею же вдаряете по голове собеседника. Смерть какого, интересно, русского поэта вы ставите в вину английской короне?» взмахивала оренбургским платком Циля Хароновна.

«Как какого? А Грибоедова. Англичане подстрекали персов к бунту, а в результате погибло горе от ума. В смысле автор погиб. Грибоедов».

(Продолжение следует)



6
ИЗ ЦИКЛА «ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ...»

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

